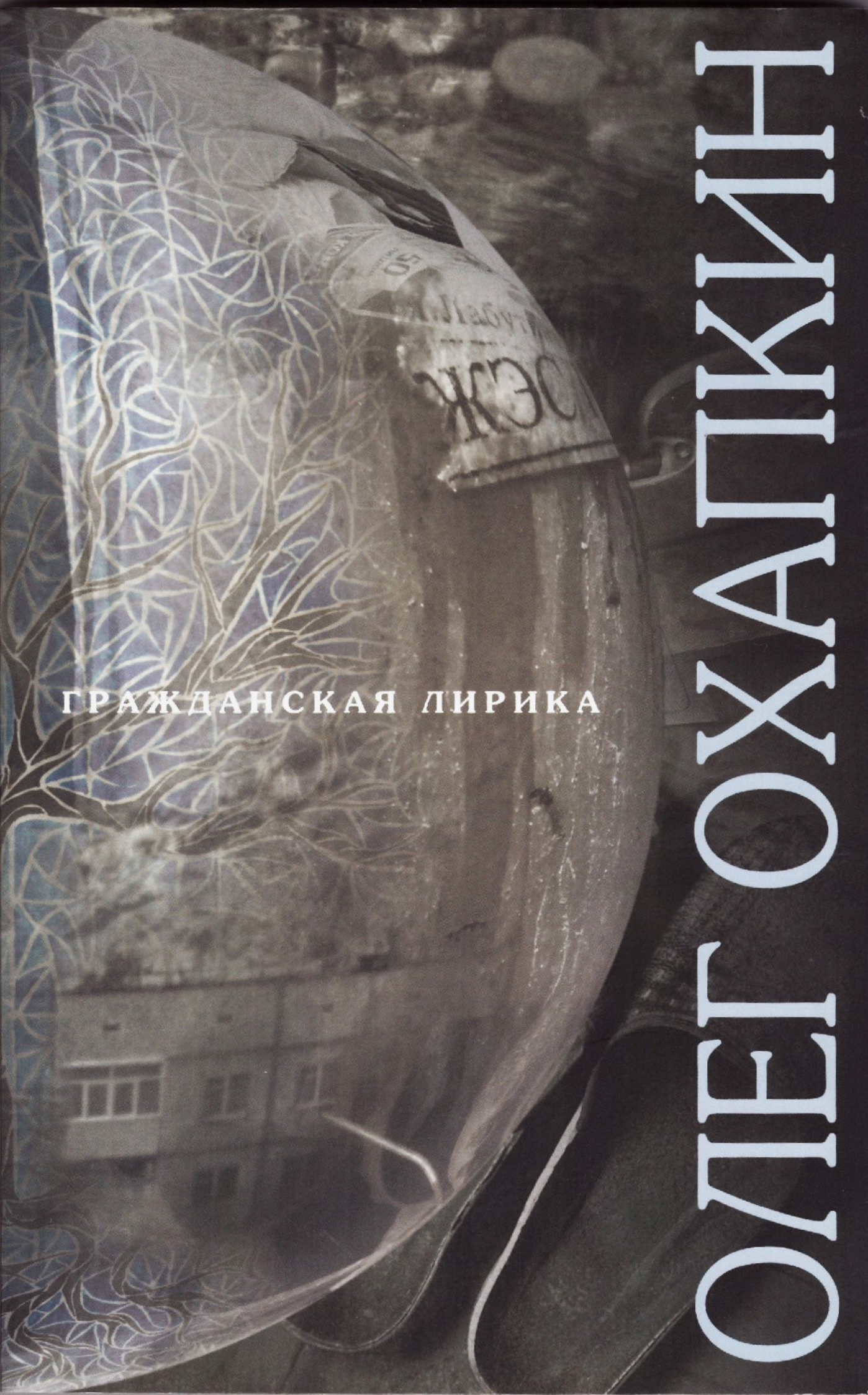


ОЛЕГ ОХАПКИН

ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА







ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА

Олег Охупкин

УДК 82-143

ББК 84(2)

О92

Олег Охупкин. Гражданская лирика/ Составитель Татьяна Ковалькова — СПб.: Русская культура, 2019. — 224 с. (3 илл.).

ISBN 978-5-905618-13-0

Гражданская лирика обычно отождествляется с поэзией социальной, запечатлевающей реалии своего времени. Главный пафос гражданской лирики — сострадание к униженным, обличение лжи и несправедливости. В лучших образцах русской поэзии от Жуковского до Блока, социальная несправедливость трактуется однозначно: как моральное зло и нравственное падение тех, кто эту несправедливость порождает. Есть такой пафос и в гражданской лирике Олега Охупкина. Наряду с этим есть тексты, пронизанные горькой иронией, иные даже шутовски злые, провокативные. В секулярном сознании не совмещается высокое и низкое, священное и светское. Однако в христианский период истории, который отличался целостным взглядом на мир, всему было своё место в иерархии ценностей (отсюда понятие «уместности»). Это характерно для первой и третьей части книги.

Во второй же, по сути, основной части Олег Охупкин показывает пути сопротивления социальному злу. Следуя иудео-христианской культурной традиции, где возросли все современные демократические понятия и нормы, он создаёт мифопоэтический мир, где человек оценивается исключительно по своему человеческому достоинству. Имея опыт выхода из рабства, его лирический герой знает, как противостоять любой системе подавления личности. Он, как древний Давид псалмопевец восклицает: «Господь заступление моё, кого убоюся?»

*В оформлении книги использованы
фотографии Виталия Афанасьева.*

ISBN 978-5-905618-13-0



© «Русская культура», 2019

© Александр Марков, предисловие,
комментарии, 2019

© Ксения Охупкина, оформление,
обложка, 2019

ОБ ОТКРОВЕНИЯХ ЯЗЫКА ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ ОЛЕГА ОХАПКИНА

Словосочетание «гражданская лирика» порой понимают слишком узко, обозначая так либо прямые высказывания по насущным политическим вопросам, либо саморефлексию «гражданина», человека, постоянно озабоченного гнетущими социальными вопросами своей страны. В этом случае «гражданин» ограничивает себя готовой рамкой настоящего, создавая себе образ человека, говорящего о самом важном.

Но может быть и другая, свободная лирика, в которой гражданин не «уже человек», не отдельный аспект человеческой жизни, где он не равен бытовым представлениям о человеке. Мы говорим «свободная» не в смысле берущаяся за любые темы, но показывающая, что опыт человека не ограничивается лишь прагматикой жизни.

Гражданскую позицию в этом случае можно понимать как прорыв, как радикальный и смелый выход за пределы своей обычности, как выход за рамки рутинного настоящего, которые и образуют для многих из нас бытовые компромиссы. Например, для одного — это спасти человека, для другого — научить человека или познакомить с искусством, для третьего — примирить враждующих. И это вовсе не «малые дела», но единственный способ действовать смело и бескомпромиссно в мире компромиссов.

Тогда (если брать русскую поэзию) не только гневный Некрасов, но и импрессионист Фет — вполне гражданский лирик, а его мысль о запредельном есть попытка разграничить земное и небесное гражданство: где мы принадлежим эпохе, а где — природе и вечности

(природе перед судом вечности). Если голос эпохи — это отражение гражданского действия, то призыв свыше — это то, чем только и могут быть оправданы усилия многих поколений сделать жизнь вокруг нас человечнее: «То, что вечно, — человечно».

В этом смысле гражданская лирика разделяет судьбу религиозной лирики: она точно так же может оказаться узким свидетельством личного благочестия в приземленных формах, но может быть и настоящим рассказом о благочестии, переполняющем небо и землю, благоговении стихий и ангелов, радости вселенной, ликовании совершившегося спасения.

Если мы попробуем «расщепить» слово «гражданский» на значения, то вспомним подряд три. Во-первых, гражданин всегда вовлечён в дела своего города, государства, ближних и дальних. Во-вторых, гражданин всегда «героичен», не только в смысле готовности совершить подвиг, но и в смысле противостояния обстоятельствам, инертным и гнетущим. В-третьих, гражданин всегда милостив, и милость здесь не временное сочувствие, не порыв души, не избыточная снисходительность, но необходимость гражданской жизни. Гражданская жизнь — это та, в которой не поощряется чрезмерная импульсивность, поспешность, переходящая в агрессию. То, что мы называем «гражданским достоинством», — это те сдержанность и благоразумие, без которых немислима добродетель, без которых всякая реакция будет слишком слепой и мстительной.

Современный поэт, поэт нового христианского призыва, по сути, производит «пересборку гуманизма» в том смысле, в каком современный социолог Бруно Латур говорит о «пересборке социального»: в отличие как от старого гуманизма (который выводил добродетели из отдельных биографий великих людей), так и старой социологии (выводившей общественную жизнь из норм и установлений), новый гуманизм требует выяснить, как соотносятся друг с другом и могут оказаться «переводом» друг друга сдержанность и смирение или достоинство и преданность.

Если новая социология выясняет, как по-разному действуют люди и какие разные программы действия обеспечивают существование общества, новый гуманизм сближает христианскую аскетику и светскую этику, показывая, где возможен «перевод» одного в другое.

В стихах Олега Охапкина мы встречаем все три смысла гражданственности: «вовлечённый», героический и милостивый, или (как мы бы сказали, вспоминая систему жанров) элегический, одический и лирический. Элегичность Олега Охапкина, разговор об утраченном и несбывшемся — это всегда внимание не только к былым обстоятельствам жизни, но и к нынешней ситуации: «круги годовых колец / Внутри ствола» — как иначе сформулировать, что ты уже не только предстал року, но и несколько раз померился с ним? Одичность Олега Охапкина — тоже не просто воспевание величественного и поразительного, а всегда отработка дикции, аскетическое «блюдение души». «...это / Написал я в преддверьи света» — здесь перед нами и метафора стояния на ночной страже, и отсылка к первому блоковскому сборнику, но еще и мужество писать во тьме, для живых современников. Наконец, лирическая милость — разговор с Россией, с усопшими и живыми: «Наш верный путь — стезя душевной боли». И это не просто горечь или сказанное в муке, но еще и переживание того, что надо идти вперёд, когда сами звуки лиры не могут и не должны замолкнуть.

Дикция гражданской лирики Олега Охапкина всегда несколько убыстренная, в «джазовом» ритме, обязанном отчасти Иосифу Бродскому. Но также это и умение набраться дыхания сразу, с первой строчки, чтобы потом несколько раз «выпалить», как в описании известной со школы Невской битвы:

В годину невзгоды, во время
Позора батыева плена
Запомнило русское племя
Военные шведов знамена.

«В годину невзгоды» — созвучие, «этимологическая фигура», требующая набрать воздуха сквозь плач, как бы на долгое время, на целый год. И словно пушечные выстрелы смысла:» русское племя» — как все сбившиеся, держащиеся друг за друга, пытающиеся выжить, «военные шведов знамена» — не хоругви, не символы, а орудия боя, как копья и стрелы. Поэтому стихотворение сразу превращается из рассказа о побоище почти в житие: племя страдает, знамена грозят новыми пытками, и нужна не месть, а память, чтобы пережить все муки времен «позора батыева плена».

Поразительно «устроены» стихи о миссии поэта в истории. Они никогда о том, как поэт столкнулся с событиями, это не о гражданственности в узком смысле как правильном и достойном действии в сложных обстоятельствах. Скорее мы имеем здесь дело с гражданственностью как единством классических «гражданских» добродетелей (мудрость, мужество, терпение и справедливость), с постоянным самоотчётом, не прощающим никаких отступлений от смелости и от милости. Такова есть гражданственность в широком смысле, «пересобирающая» мир не просто в решительных действиях, а в аскетически строгой работе над собой. Исторический поэт Олега Охупкина — не певец во стане воинов, не необходимый свидетель, а ангел, вестник, сообщающий, насколько строго была выполнена работа, всегда ли замысел совпал с исполнением:

Сыпучая чужбина, где твой Рим?
Передо мной встаёт барханов дым.
Что, нищета, твой посох? Не цветёт?
Зато пустыня отчины метёт.

Ясно, что такие вопросы может задать только ангел, поэт обычно смиренно берёт посох или воспеваает пустыню так, чтобы она расцвела. Здесь посох нищеты Мандельштама и расцветший посох Аарона оказываются одним посохом, посохом, который точно указывает цель, который и есть мера. В этом мире, мире поэта,

мера, строка, ритм, список грехов и добродетелей, шаг и посох оказываются частью одной сложной системы.

Мы знаем, что «стопа» — это и шаг, и поэтическая единица, что «строка» бывает в стихе и в бухгалтерской ведомости или списке приготовления к исповеди, что «мера» может измерять параметры мироздания, а может задавать ритм стихового высказывания. Но это отдельные параллели, помогающие понять поэзию, тогда как «гражданская лирика» требует не просто понимания, а «пересобирания», свертывания больших реальностей в единые образы, умения очень хорошо помнить происходящее, аскетическая «память смертная» и одновременно «культурная память». Как на иконе ангелы сворачивают небо, уже тщательно прописанное, со звёздами, так и в поэзии Олега Охупкина поэтическая речь, её вопросы (не случайно знак вопроса напоминает тот самый сворачиваемый свиток с иконы) рассказывают о том, что произошло и с Римом, и с Москвой, и с Петербургом.

Такая «свернутость» и автономия образа позволяют соединить одичность и сатиричность в поэзии Олега Охупкина не как у других поэтов (обращением к стилистике русского XVIII века, где было место и тому и другому), но особым образом: благодаря цитатности, цитонности (наличию сразу нескольких цитат рядом), самовопрошанию, почти списочному анкетированию себя, проверке того, как работают старые, если так можно сказать, «литературные конструкции». Невозможно цитировать что-то расхожее без улыбки, но невозможно, улыбаясь или негодуя, хотя бы немного не рассказать «одично» о происходящем. Так, в стихотворении, посвященном Державину, мы сразу опознаем цитату из Тютчева:

Всю, всю тебя, земля родная,
Небесный Царь благословил!
И древней святостью от края и до края,
И мглой священной могил.

Созвучие «мглой... могил» уже не соответствует этимологии, но противоречит ей, именно потому, что святость не «укоренена» в могилах, хотя могилы — место поминания. Святость коренится в небесах, поэтому она развернута от края и до края, как купола Равенны, где мозаичные звёзды оказываются звёздами бесчисленных святых, где на тонкой грани от античности к средним векам гражданская добродетель сошлась с христианской, и мудрость и мужество стали пониматься как необходимая часть созерцания божественной жизни.

В сказке человек должен вроде бы состариться, пока идёт до тридевятого царства, однако возвращается всё равно молодым к брачному пиру. Но то, что возможно в сказке, возможно и в поэзии, которая созывает всех услышать одни и те же слова, независимо от приобретённого опыта, благодаря стройности самих слов.

Так что это вроде бы приношение поэтам, но на самом деле архитектурно организованная строфа, где есть верх и низ, купол и столпы, где мы не можем прочесть, не задав вопрос, в каком именно месте мы находимся, если святы и начальный высший замысел о мире, и цель жизненных стремлений. Задача гражданской лирики не просто научить человека ориентироваться по звёздам добродетели, но научить видеть себя между начальной и конечной точками: альфой святого первотворения и омегой святого спасения.

Олег Охапкин берёт из XVIII века не стиль протяженных описаний и продуманных разговоров, но живописный принцип, близкий ломоносовским мозаикам: фабула уже известна, но на доске разместятся и сюжет, и его зрители условно (и Пётр, и свидетели его побед, и Петербург как главный свидетель). Строфа, как «артикулирование» сюжета, а не просто закругленность мысли, позволяет этот принцип реализовать, например:

И днесь в Воскресный наш канун
Я, восклицая: «Благодарствуй.
Душа моя!», — и, мирных струн

Слегка рокочущий Перун,
Смиряю перед Божиим Царством,
Грядущим в Славе по мытарствам,
Как бы волны морской бурун.

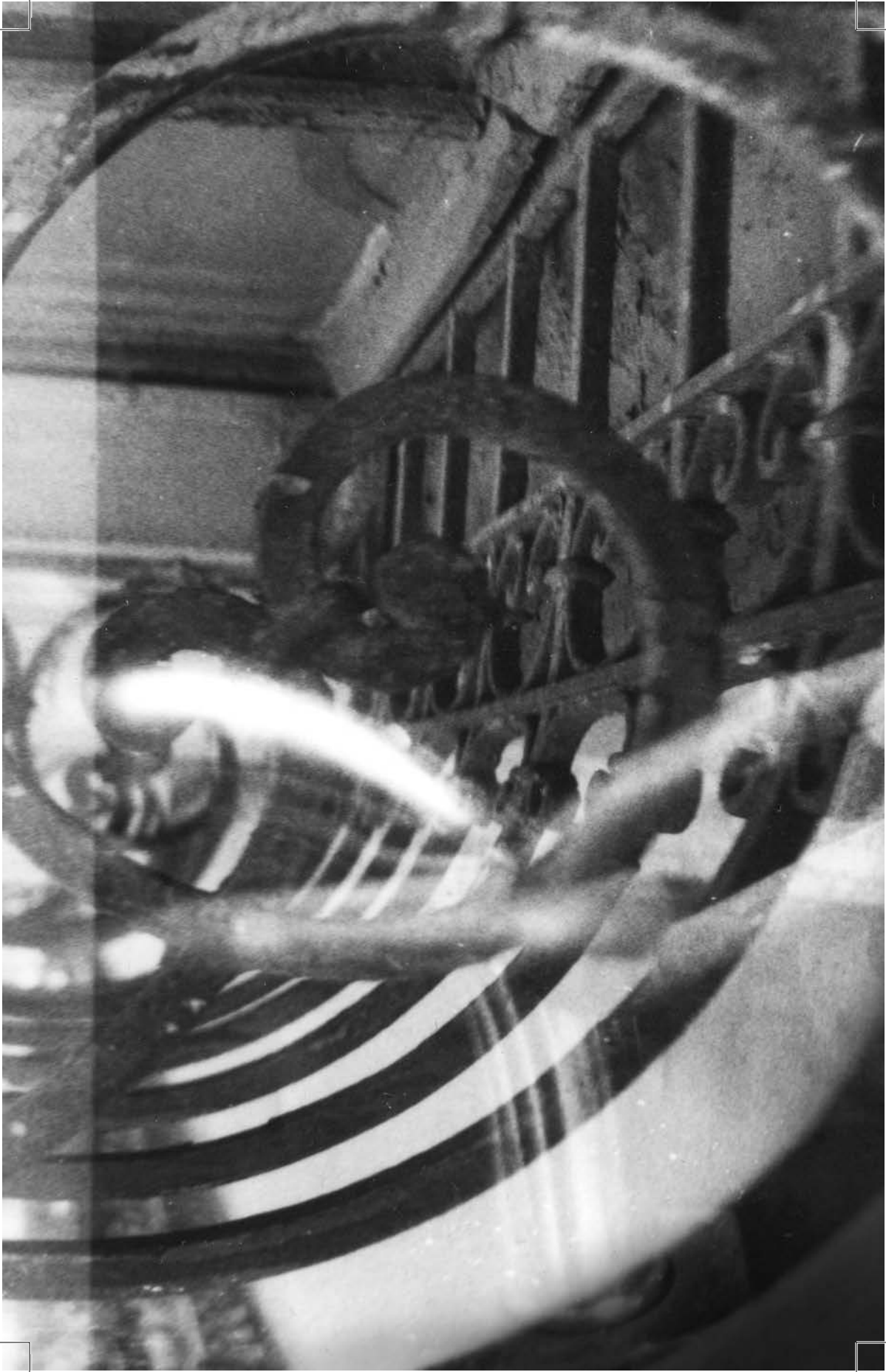
Струны уже рокочут, тогда как «воскликнуть» благодарность нужно, и еще нужно смиренно поработать после этого громогласного возгласа. Гражданская лирика окружает себя смиренными свидетелями, которые знают, что таинство жизни их уже настигло, и поэтому любой, даже милостивый их взгляд рокочет как труба спасения. Это особая одичность: не сообщение о победе и не программа триумфа, но ода как милостивое пение, как радость от того, что «пересборка» добродетели осуществилась как раз вовремя, в канун Воскресения.

Поэтому и в новый век эти стихи звучат особо милостиво:

Быть может, наше слово отзовется
Сочувствием, как древле — благодать.
Так пой, поэт, пока ещё поётся!
Пусть будущее над тобой смеётся,
Ты в вечность жизнь обязан передать.

Опять цитата из Тютчева, опять воззвание к поэту явно не от коллеги, но от ангела, потому что никто не вправе заставлять поэта «петь, пока поётся», даже он сам, но только ангелы, как мы уже сказали, ведут настоящий учёт поэтическому пению. Так сходятся ода и сатира, ода не просто воспевает, а сообщает о вечности, и сатира не просто обличает, но говорит о несбывшемся настоящем. Таков гражданский гнев и такова радость спасения, слившиеся в громогласном звучании самой добродетели, поручающей человеку Новую жизнь и требующей передавать её другим. Услышит ли народ это? — вопрос грамотного прочтения поэзии, не больше и не меньше.

Александр Марков





время застоя

Время застоя

(конец 1960-х – начало 1970-х)

* * * *

Если Родина мне уготовит оружие к бою,
Мама, мама, не будем прощаться с тобою.
Всё равно не вернусь я прощённым из бойни и ада.
Не ищи меня, мама, в бессмертной толпе Ленинграда.

Но к шинелям солдат, я молю, не питай отвращения.
Нам, убитым, уже не приснится прощенье,
Потому что мы бились и гибли, и пали как жертвы
В этом братстве врагов, где одни уцелевшие мертвы,

Потому что солдат не убийца, но праведный воин,
Не губить, но погибнуть оружием твоим удостоен.
Но затем, что повинны не руки, не камни и танки,
Не ищи меня, мама, в роддоме на тихой Фонтанке.

Не ищи меня там, во дворе, где детишки из школы.
Это всё без меня: и футбол, и колы, и глаголы.
Если выбьют стекло, не гляди, отвернись, не вреди.
Самый гибельный бой у мальчишек твоих впереди.

1968

НАВАЖДЕНИЕ

Колкий снег и тьма с полночи.
Русский Север: лёд и мрак,
Чёрный ветер, красный флаг...
Блок, закройте Ваши очи!

Эта музыка в ночи —
Полстолетия Россия
В лапах бешеного Вия.
Гоголь, зубками стучи!

Черт! Неужто царство троллей?
Заблудились, милый Пэр!
Это ночь в СССР,
Это бесы плачут в поле.

Сколько их! ... Куда летят?..
Нынче шабаш над Москвою.
Пушкин, дайте нам покою!
Не бесите чертенят!

Боже! Слушайте, Булгаков,
Хватит с нас дьяволиад!
Круг полярный, Дантов ад...
Мрак повсюду одинаков.

Достоевский, пощади!
Вы как будто сговорились!
Ваши птички оперились —
Черт маячит впереди...

Я хотел его в строфу —
Задымилась тут бумага,
А в башке такая брага,
Что заканчиваю... тьфу!..

1968

НАЕДИНЕ С ОТЧИЗНОЙ

Наедине с отчизной ты, разлука
С бесценным другом, как ни меньше мука,
Но мукой остаёшься. Что отчизна,
Когда её пространства — та же тризна
По милому сердцу горечи прекрасной
Прощания. О, друг мой, твой ненастный,
Твой грустный вид любезен мне! Природа
Тоски твоей чужда тоске народа,
Как говорят подчас у нас в газетах
Лихие оптимисты о поэтах.
Но что до патриотов, эта свора
Дворняг не видит далее забора.
А мы с тобой, любители уходов,
Разлучены отчизной, но масштабов
Разлуки нашей не Россией мерить.
К чему в беде нахально лицемерить!
Разлука ближних тем и величава,
Что ей пристала горечь, а не слава.
И если мы разлучены любовью,
Нам не отчизна ляжет к изголовью,
Но страшные пространства разлученья,
Простор тоски и времени теченья,
Различные по свойствам дни и годы,
Простая география свободы.
Но Боже! География любви
Всё та же, что и в школе. Для сословий
Влюблённых, что и школьникам, пространство
На карте — не земля и постоянство
Её материков и океанов,
Но образы мечтаний и обманов.
И потому, затерянный в Сибири,
Я вижу яркий свет в твоей квартире
В мемориальном доме на Фонтанке,

Уютный быт и скуку горожанки
Среди июня в городе, и вижу
(Как мой удел таёжный ненавижу)
Завидный быт в палатке знойным летом
Наедине с отчизной, и при этом
Я безутешен в мире необъятном:
Ты ближе здесь, чем быть могла в стократном,
Но не осуществимом приближеньи,
Как ты близка в моём воображеньи.
Простор и воля вопиют о горе,
Что берега близки нам только в море.

1969

* * * *

Не уж-то азиат?
Нет. Россиянин ты.
Тому — свидетель мат
Отменной чистоты.

Тому — свидетель нрав
Смиранный и крутой.
Себя перелистав,
Ты вспомнишь нечто. Стой!

Не европеец ты
За так себя листать.
Мы, русичи, просты
Друг друга опростать.

Хитёр характер наш.
Росс торговаться рад.
Тысячелетний стаж-
Крестьянский наш уклад.

Европа? То — уклон.
Монголы? Экий срам!
Не к немцу ль на поклон?
В Царьград, в Софию, в храм!

А то и на Восток,
За Обь — в Сибирь, в Сибирь!
Милиции свисток,
Байкал и Анадыр.

Да мало ль этих дыр!
Возьми хоть Сахалин.
А то Алдан, Таймыр
До самых украин.

А то и Колыма
Оттоль возврата нет.
Вселенская тюрьма,
Привет тебе, привет!

Да кто же ты? Бандит?
Бродяга или вор? —
Да русский я, пиит.
Не лаю на забор.

По мне закон — закон.
А беззаконие — склад
Характера. Погон
Не выношу. Vivat!

Азиец, славянин,
Отчасти финн, варяг,
Олег от имянин
И от богатства наг.

Так, от природы гол,
Как все вокруг, увы,
По матушке — сокол,
По отчеству — с Невы.

1969

* * * *

От ямщика до первого поэта
В России все поют на грустный лад.
Так Пушкин говорил. Россия, Лета...
Шептал другой, мрачнейший во сто крат.

Россия, Русь! О, не печалься, мати,
И не рыдай мене! — Скорбит душа.
Что из того, что я умру в кровати
На чистой простыне и не спеша!

Я жил средь вас, родные палестины,
Витийствовал, любил и бедовал.
Но наш собор — Валдаи и равнины —
Бил в колокол и сердце надрывал.

Пел колокольчик тихий и унылый,
В ночи свершались тёмные дела,
И день за днём тянулся век постылый,
Мела зима, всегда белым бела.

В кромешной тьме носился тёмный ворон,
Беснуясь, чернь чернила белый снег.
Уклад земли до основания взорван.
Над бездною поставлен человек.

Оборван эпос наш на полуслове.
Монголов иго даром не прошло.
Довлеет злоба съеденной корове,
И всё идёт чредой, куда б ни шло.

1969

РЕЧЬ ПАЛОМНИКАМ В КИЕВ

Лицемерия власть ныне
Даёт право попранной святыне
Сбор денег делать многих.
В Киеве скажет любой двуногий,
Как пройти до святой Софии.
То-то! Ныне дела лихие
Доходны, как никогда, стали.
И не то, чтобы хамы наш храм засрали,
Очевидно вполне, расчистка фресок
В эпилоге чистки рядов классов —
То же самое лицемерье. Мерзок
Такой оборот, ибо храм Спасов
Не нуждается в большей славе,
Чем та, которую нас в державе
Крестили во имя Отца и Сына
И Духа Святого. Итак, малина
Разворована бысть. Бог в помощь!
Но Левиафана страшна немощь.
Гниющая туша уж тем заразна,
Что рыло воротит всяк дыханья
Имуций прелесть — соблазн оргазма
В миг удушья, в момент чиханья.

Будь здоров, комсомолец! Храму
Нужен звук от души идущий.

Иначе плату за вход в яму —
В пещеры киевских чудотворцев,
Равно под своды Софии пьющий
Росс назовёт налогом. Ларцев
Потайных с замком пудовым
Не имеем. Порядком новым
Премного довольны. Чихнуть пускают

В места святые, даже таскают,
Дабы поднять культуру в массах,
Благо, билеты найдутся в кассах.

И всё-таки маху дают. Леность
Благословенных веками сводов,
Как бы весточка с воли в крепость,
Превышает статью доходов.
Форма жизни есть форма тела.
Чем стройней — моложе вроде.
Исключение души в уроде
Подозрительно. Всё ж для дела
Нашей жизни пригодна форма
Богова, как говорит Писанье.
Храм же даётся не для прокорма
Закона, скорее, как обрезанье
Его на веки веков. Точка.

Форма закона — всё та же вздрочка
Нашего быта. Знает всуе
Всяк понаслышке об аллилуйе.
Но величия не охватят
Разумы, что за вход платят
Медью бряцающей. Лепта свыше —
Наша расплата за крест на крыше —
Лицемерье охраны святынь места
Славы пращуров — лицемерье жеста.
Но власть Господня — лёгкое бремя.
Его дуновенье — века, время.
Потяжеле татар иго.
Но власть от Бога всегда, ибо
По заслугам даётся. Жестокой эре —
Лицемерье — флаг по жестокой вере,
Дабы то, что выбрал народ в битве,
Научило его не хвальбе — молитве.

1970

ВЕСТИ ИЗ ЛЕСА

Но не волк я по крови своей.

О. М.

Волк из последних заматеревших волков
Вою ночами без промедления, чуть слуха
Слово коснётся, хоть не волчье по крови. Таков
Стал мой уклад, истончённая оторопь нюха.

Чую по-волчьи, не по-людски тишину.
Ангелов нет в ней и невозможны по нашим
Безвременам, этим тусклым глазам на луну.
Воем ночами, и утром под дудочку пляшем.

Волки ли, волки ли?.. В тишине гробовой
Слух человеческий остановился на взводе.
Тишь над страной, нечеловеческий вой.
Тише ты, муза! Не лира нужна в безысходе.

Связки нужны — извлечение хрипа из слёз,
Перестрадавший, перезаверченный хохот,
Хрип-говорок, чтобы смысл в нас не то что бы мёрз —
Стыл, нагреваясь на распродаже, как похоть.

Рифмопродажа, окостенелая вязь,
Ложь худосочная, небывальщины невзречь —
Призраки бреда, кровосмешения грязь —
Вот наш пароль, наша нищая мелочь.

Муза, беги! Я не волк, но и волк оттого.
Лиру расстроив, я какофонию леса
Нюхом в молчании определил. Итого:
Нет для меня гонорара, и нет интереса.

1970

ИОСИФУ БРОДСКОМУ

1.

Тебе, небесный брат, оратор вольный,
Тебе мой мирт и лавр с тех пор, как Смольный
Собор нас посвятил друг другу. Ты
Забыть не должен гордой высоты,
Где мы с тобой пред городом и Богам
Стоим и по сей день двойным итогом
Шестидесятых века. Наш союз
Превыше нас и наших дружных муз.

2.

Ты помнишь неба точное молчанье,
Когда нам показалось, что венчанье
Столь явной высотой — забавный миг?
Не для того же купол сей воздвиг
Прославленный Растрелли, чтобы слава
Поэта наших дней, увы, без права
Стать всенародной, вырвалась из мест
Столь отдалённых и под самый крест

3.

Над Смольным вдруг однажды водворила
Тебя, чтоб чернь в потомках говорила
Как совесть православная Руси.
Но, слава Богу, были караси —
Идеалисты даже в наше время! —
Их возмущало праведное бремя
Пророка. Таковы России сны.
Ей снятся убиенные сыны.

4.

Но что Россия! К нашей вящей славе,
Пророки не нуждаются в державе,
Равно, что и она в них. По сей день
Каменьями их бьют, кому не лень:
Не только правоверный хам, но чаще
Элита — те, кому б волками в чаще
Быть, а не паству нищую пасти,
Не дай нам Бог у этих быть в чести!

5.

И всё же. Что за случай прихотливый!..
Так день для нас воистину счастливый.
Изгои, мы тогда наверняка
Не ведали, что случая рука
Нас возвела над храмом запустенья
Затем, чтоб мы на грани средостенья
Земли и неба вымолчали суть
Друг друга... Кастор, брата не забудь!

6.

Я — брат тебе, прости, тобой названный
Поэтом, — Полидевк, Зевесом данный
Последователь, право, не прямой,
Но истинный. Ты помнишь, за кормой
Буксира на Неве плоты лежали...
Их к берегу заведомо прижали
Буксиром плотогоны, чтоб войти
Искусно в устье Охты. Не найти

7.

Мне лучшего сравненья, ты ведь знаешь,
Как третий год мои длинноты правишь.

Маневр же плотогонов и вдвойне
Обоим поучителен. По мне
Так вовсе не учиться... Но искусство
Предполагает искушение — чувство,
Поверенное разумом, как плот,
Когда буксир, не тащит, но ведёт.

8.

Тогда течение слов — необходимость.
Поток несёт. Заведомая мнимость
Самоуправства смысла такова,
Что нас наводят мысли на слова.
Но что же нам уроки лесосплава?
Всё дело в том, что длинный хвост состава
Теченьем развернуло поперёк
Невы. Тогда я понял, как далёк

9.

Был умысел тех сплавщиков. Покуда
Буксир с рекой боролся, мы оттуда,
С собора, то есть, разглядеть могли,
Как Время и течение помогли
Завести плоты искусным плотогонам
Внутри горловины Охты по законам
Течения рек без лишней суеты.
Не так ли, друг, со мною дружишь ты?

10.

Но к делу. Наша вылазка на купол —
Не то, что полагает Лена Кумпан
(И остальные дамы — наш оплот,
Галушко, скажем), что Охапкин — плот,
А Бродский — тот буксир... Куда не легче!

Попробовали б сами! мы не векши,
И всё-таки, на верхотуру встав,
Мы видели плоты, весь их состав,

11.

И, здраво мысля, так и утверждаем:
Мы смотрим сверху, сим и побеждаем.
Величье сильных — гаерская статья.
Что в наше время миф? А наплевать!
Я рассказал ещё одну легенду
И снисхожденья не прошу в аренду,
Но что же делать: гениален тот,
Кто гений, а не гением слывёт.

12.

Итак, тебе, любезный небожитель,
Мой мирт и лавр, не я, спаси, святитель,
Я сам себе и бабам пригожусь,
Но нашим братством ревностно горжусь,
Затем что те, кто в небе — Диоскуры,
Не могут состязаться из-за дуры —
Ледащей славы где-нибудь на Невском,

13.

День нашего знакомства был июнь.
Когда бы Зевс доверил нам перун,
Которым правит Случай — общий рок,
То и тогда событиям поперёк
Мы вряд ли так удачно угадали
День встречи нашей — Близнецами стали.

Не так ли? Диоскуры — Зодиак
Июня. Как ни вешают собак

14.

На нас, мы всё же — братья, и собаки —
Наш общий крест. Когда дойдёт до драки,
Ты, Кастор, я уверен, примешь бой,
А Полидевк, поверь, всегда с тобой.
Но что до Марса, вряд ли ближе к пальмам
Сместится он... Как говорится, дай нам,
Великий Зевс, надеяться на то —
Сносить бы нам не головы — пальто.

15.

Уж как-нибудь нашлись бы из силёнок
Последних по цене комиссионки
Дерюжный драп сменить на замшу. Дай
Нам, Бог, смиренья не глядеть за край
Привычной нищеты и униженья! —
Не греки мы, чтоб наше обнаженье
Гарантией свободы стало нам.
Не многого хотим — прикрыть бы срам.

16.

По нашим временам опасно нищим
Прослыть. Кого ещё в России сыщем
Из неимущих, как не гордецов?
Когда б могли мы слыть за подлецов,
Иль, что ещё ужасней, — компромиссов,
Мы не знавали б в воздухе провисов,

Писали бы не в стол, наверняка,
Да вот беда, мы пишем на века.

17.

Но это — прирождённая заслуга.
И в счёт её нам по ночам фрамуга
Не застит Млечный Путь, когда мороз
Трещит, как бы писательский понос,
И мы за самой горькой сигаретой
Отмечены в ночи особой метой:
Один чуть рыж, другой приметно рус,
Как братья в небе — Кастор и Поллукс.

18.

Когда ж об эстафете поколений
Ты говоришь в ночи, я знаю, гений
Твой дивно одинок, и оттого
Ты, как безумец, Бога самого
Зовёшь себе в свидетели и зычно
Глаголешь, как Исая, неприлично
В пустыне вопиющий трубный глас...
Ты не один. Я слышу. Двое нас.

19.

Я за тобой через четыре года
Иду затем, чтоб нищая свобода
Твоя прошла оружием сквозь меня
И обернулась эхом, чуть звеня
Там — за моей спиной в пустыне новой,
Что станет для грядущего основой,

Когда наш век завоюет, старый волк.
Травить его — наш долг, последний долг.

20.

В окно смотрю, как ты сегодня ночью,
И вижу: несть предела многоочью
Провидческих стихов твоих, поэт,
Что и стихам твоим предела нет.
Не этому ль и я, тобой обучен,
Дивлюсь, как ты, столь неблагополучен,
Что мне нужны стихи длиною в ночь,
Чтоб не себе, так другу чем помочь.

1970

АЛЕКСАНДРУ ОЖИГАНОВУ

1.

Оттого ли, что нищ твой Христос и незрим,
Одарил тебя Бог нищетой, и за это — молчаньем.
Брат мой, нищенка — муза твоя, сам ты щупл,
пилигрим.
Занесло ж тебя к нам на базар, где с животным
урчаньем
Рим крошечный влагалище речи сосёт.
Занесло ж тебя... Эдак
Разве слово заносит на рифму, поёт
Мерный синтаксис Лазаря. Редок
Наш язык, точно рваная сеть.
Не уловишь сей рванью достаточно рыбы.
Но затем, чтобы нищего Лазаря петь,
Посылает нам Небо прообраз поющий
Нищеты христианской, апостолов, дабы
Мы смогли их распять пред собой лишь за то,
Что неуместно посланникам Бога потёртое слов
решето.

2.

И за то, что нищ твой Христос и незрим,
Не заметит крушенья империи Рим,
Посягнувший на слово твоё запылённое, странник,
И могилу твою не отыщут, и время пройдёт,
И могилу твою археолог найдёт,
И пройдут времена, и в Россию, посланник,
Ты зайдёшь на советское время затем,
Что последнему Ромулу мстит поражением Рем.

3.

Но за то, что нищ твой Христос и незрим,
Не поверят тебе, шестикрылый босяк, серафим,
И мечу твоему удивляться не станут,
Разве вскользь усмехнутся твоей нищете,
Не расслышав глагола в словесной тщете,
И полушки никто не подаст, разве власти пристанут.
Разве сплюнет окурок студентка твоя,
Комсомолка, скользящая взглядом змея,
Улыбнётся развратно,
Да какой-нибудь, как называют, поэт
Зазевается сдуру на твой силуэт,
Уходящий в пространство на вечный ночлег,
И следов не запомнит курящийся снег,
Так явление твоё неозвратно.

1970

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕСЕНКА

Железен дом, и в нём ночлег.
Не то — железная тюрьма,
В ночь — помешательство ума.
Идёт железная зима,
И в ней стократ железен снег.

Железен Времени закон.
Ты видел, пишущий в пургу,
Как пишет вьюга в ночь и мглу
Инициалы на снегу —
Издревле пишет, испокон?

Итак, ты видел? Так пиши,
Но так пиши, как пишет миг,
Читателя грядущих книг,
Пока мигающий ночник
Ещё горит в тиши!

Ты не постигнешь календарь,
Пока в тебе зима, черёд
Зимы, и задом наперёд
Не вывернешь изнанкой лёд,
Поскольку сам — янтарь.

В тебе душа, как паучок,
Застрявший в янтаре, тиха,
И сам ты в глубине стиха
Стоишь, как бы в снегу ольха,
Что различает твой зрачок.

И вот тебе не охватить
Не то что мига — тишины,

Где звуки так напряжены,
Что в них уже отражены
И те, что станут жить.

Ты вяжешь свой железный бред
В железном круге бытия.
Железна песенка твоя,
Как бы железная хвоя —
Еловый силуэт.

Но пусть железны наши дни,
И в них чудес хвоя.
Железна песенка твоя,
И в ней холодная струя —
Железистый родник.

1970

ДРУГУ — СТИХОТВОРЦУ

Д. Бобышеву

Любезный друг, не плачь. Что наши горести!
Мы — виноград у Господа в горсти.
И нет для нас на свете высшей доблести,
Чем эта — крест принять и крест нести.

Мы родились затем в года советчины,
Чтоб разглядеть России скорбный путь.
Иеремии, плачем. Слёзы отчины —
Поэзии удушенная суть.

Рыдай, моя душа! Кричи о помощи!
Рыдай о том, что друг мой сух и нем
Не оттого, что так расслаблен в немощи,
Но оттого, что зрит... Кому повем...

Есть времена, когда стихи не пишутся, —
Эпохи лицемерия, увы.
Тогда скрипят лишь те, чьи перья чешутся.
Не так ли, друг, на берегах Невы?

Как много в наше время полупишущих,
Не ведающих, Боже, что творят,
Таинственные песни наши слышащих,
Не мыслящих, что сами говорят!

Когда-нибудь вся эта безголосица
Свидетельствовать станет на Суде
О Времени, но с них уже не спросится,
Как никогда им не сгореть в стыде.

Им остаётся вечная оскомина
От винограда тех, всегда иных,
Кто предпочёл со всей Россией сгорбленно
Молчанья крест нести за всех, за них.

1970

К МУЗЕ

Камчатка — новый наш Кавказ.

А. К.

Подружка Муза, вот стакан.
Не дрогнув, пей!
Быть может, пьём последний год.
Страна моя, так её в рот,
Того гляди, настроит лагерей.

Так выпьем с горя! Лиру дай!
Гитара тут
Не подойдёт, и так тоска,
Нездешний холод у виска.
К Овидию подкрался, зная, капут.

Твой Рим — тотальная страна.
В век стукачей
Неколебим подобный строй,
Хотя б не пение, а вой
Стоял над головами слухачей.

Безвременье. Каких пустот
Ещё желать!
Так нет же, Муза, пей до дна!
Для нас протрация одна
Осталась, да секач... А наплевать!

Пускай сечёт сам за собой!
Не в парадняк
Же с гостьей чудной!.. Тут, в саду,
Мы выпьем грозно на виду
У римской стражи. Пусть его, сквозняк!

Российский продувной февраль,
Шамань, колдун!
Мы выпьем, нищая моя
Подружка, выпьем, слёз не лья,
Пока метёт февральский колотун.

О, как хотел бы я запеть!
Но лучше пить,
Когда в стране такой мороз,
Что горло сводит. Папирос
Пойду стрельну. Не хочешь закурить?

Из автомата взят стакан.
Кредит кашеев.
Бей! Может, бьём последний раз.
Камчатка — новый наш Кавказ.
Россия не оставит нас
Без юбилеев.

1970

К ДРУГУ МОЕМУ

К. Кузьминскому

Куда мне притулиться с собачьим умом?
Приклоню ли голову между женских ног,
Положу ли лоб мой на лоне самом
Природы, на газон любой, всюду, видит Бог,
Я молитву умную проскулю псалмом.

Куда мне приласкаться, приютить главу?
Где бы я ни знал печаль, с плачем ни пел,
Повсеместно, как собака, за палкой плыву,
Приплыву, а господин мой успел — околел.
Ни к чему игрушка труп. Напрасно зову.

Куда я за Господом, псина, побреду?
Ино плыть за палкою иному кому?
Смехачи всегда найдутся на нашу беду:
Почитай стишок, верняга! Почёт по уму...
Вот те палка... нюхай, нюхай нашенску дуду!

Отчего я понимаю всяческую тварь?
О, зачем известен мне животный язык?
Госпожа владычица, что же ты? ударь!
Я поэт возвышенный, и к палке привык.
Палка, о, сударыня!.. о, труп, государь!

А, шуты, смеётесь? ужо вам послужу!
Женщина, у ног твоих, между... О, ликуй!
Ну, а ты, товарищ мой, труп, я весь дрожу...
Жду: не поиграешь ли со мной... Не рискуй!
Спи, мой современничек, я не разбужу.

1970

В ЧАС АРЕСТА

В час, когда нас ворует никчёмная власть,
В час ареста, хо-хо, божественный юмор
Сохраним, христиане, позволим напасть
Человеку с мечом, он давно уже умер.
И когда в час ареста мы юмор мечу
Предпочтём, то свобода как раз по плечу
Нам придётся и Время пойдёт, как часы,
Исчисляя печаль, что кладём на весы.

В час, когда нас возьмут, арестованный Бог
Отказался от власти, жестокий подвох
Предваряя, сказал предающему: «Друг!
Для чего ты пришёл?» Этим словом испуг
Предваряя никчёмной в массовке толпы,
Чьи мечи, полагаю, надёжно тупы,
Предварил не без юмора всё, что потом:
Человека толпы с перекошенным ртом.

В час ареста позвольте им действовать так,
Человекомечам: из широких штанин
Дубликатом бесценного груза едак
Доставать сколько влезет. Из них гражданин
В чём-то штатском. Он хочет чего-то. Итак,
Христиане, позвольте им этот пустяк.

В час ареста не в форме зануда — главреж.
Гражданин кобурою играет, поди...
Что ж, картонная стража моя, заходи!

1970

* * * *

Тьма, хоть выколи глаз. Живём
В безвременье, я хотел сказать,
Да часы стучат, сам сижу живьём
За столом под лампою, где лизать
Спину свою полюбил кот,
Чихает бабушка, поёт комод,
Картонная музыка «Паяца» орёт
За стеной. Карузо ещё любим.
Кот жестикулирует под лампой, как мим...
Значит, время ещё идёт.

Безвременье, однако. Да, да! Оно.
Тьма, хоть выколи глаз. Окно
Занавесишь, и всё равно
Слышен ползучий ледник страны.
Так танки слышались до войны.

Уж лампочку помощней свернёшь,
Да темень тьмущая, хоть выколи глаз.
Или ослеп я? да нет! Как раз
Мерещится что-то. Не разберёшь,
И окажется — тьма на нет
Сошла, и Времени силуэт
Похож на круги годовых колец
Внутри ствола. Но пока ствол
Растёт, наше знание — производ
Догадки. И это — тьма, конец.

Время идёт, как идёт дождь.
Смею заметить, народу вождь
Не к лицу, когда посреди дождя
На шаг не различишь Вождя.

1970

* * * *

Свистящий и режущий, режь и свисти,
Сжигай мою душу, февраль!
Пока я, как снег, не растаю в горсти,
Расти и врастай в меня, враль!

Прошей мою печень отравой вина
И жизнь мою сном оболги!
Душа твоя смертью моею пьяна.
Наращивай, сука, долги!

Крени меня, падло, в падучей тряси!
Не парусник я, чтобы дна
Бояться. Живой я. Не иже еси,
Но жизнь во мне только одна.

Одна. Да, одна. Оттого и зову
Тебя обобрать меня. Ну!
Бери, да и что там! Я пьян наяву,
До сна же едва ль дотяну.

Похмелье ль, могила ли там впереди
Иная ль какая печаль...
Я пьян, да и полно. Дионис в груди
И блядь на коленях, горчаль.

Прогорк я, отравлен. Вакханка визжит.
На сердце же льдина, тоска.
Любовь ли то плачет, окно ль дребезжит,
Но скрипка свистит у виска.

Ошибся. Транзистор. То — Григ.. Он запел.
Я запил. Прости мне, Адель!
Немного я в жизни и в сердце имел,

Но вьюга — моя колыбель.
И ныне я слышу: не Сольвейг зовёт,
Но дикая скрипка — метель.
И если мне сердце тот звук разорвёт,
Февраль разберёт мне постель.

В сугробе меня убаюкает он,
Качая курящийся снег,
И буду я слышать не хор похорон,
Но вьюгу, но ветра разбег.

Российская стужа, норд-ост-колотун
Убьёт меня гнилью и тьмой,
Зане я касался орфических струн,
И дух мой не сжился с тюрьмой.

Прими же меня в этот музыки строй
И в оргии душу мою
Орфической, отче Дионис, укрой
Поющей стихией, молю!

1971

В НОЧЬ НА НЕВСКУЮ СЕЧУ

В. Кривулину

В годину невзгоды, во время
Позора батыева плена
Запомнило русское племя
Военные шведов знамена.

Обыкновенная сеча.
Но что-то в ней неизгладимо.
С восхода — батыева Туча,
С заката — безумие Рима.

С Востока — ярмо и нагайка,
Невежества жёлтая сила,
А Запад — грядущего чайка,
Златая середина, могила.

И в это-то время лихое
Нам было не то что виденье,
Но знаменье, правда, глухое,
И живо в народе преданье.

В ту ночь во Владимире-князе,
Почтив его светлую память,
Отряд новгородцев в железе
Ушёл нас навеки прославить.

И вёл Александр их. Ижорца
Пелгусья, Филиппа в крещеньи,
Заутра, до свету, до солнца
О вражеском войск размещеньи

Разведав, он ставит при входе
В Неву, поручив ему стражу

Двух русл, дабы враг при отходе
И здесь ущемил себе грыжу.

И вот, чуть светало, с залива
Внезапно повеяло чудом,
Как будто бы грохот прилива,
Как если бы русским народом,

Поднявшимся разом на сечу,
Дохнуло пространство и время,
Входившему солнцу навстречу
Дохнуло видения пламя.

Реченный Филипп обернулся
На шум, распахнувший до неба
Простор, будто спал и проснулся,
Он видит Бориса и Глеба.

Корабль, и на нём двое рослых
Мужей в одеяньях червлёных.
Ладя выгребает на вёслах
По-русски в бортах укреплённых.

В насадах гребцы, как бы мглою
Одеты, лишь двое над ними
Светлы и зарей золотою
Очерчены чудно, как в дыме

Два пламени жарких и ясных,
Обоих же руки на плечи
Друг друга возложены. В грустных
Их жестах — печаль, не иначе.

И слышен в рассветном просторе
С ляди доносящийся голос.
В том голосе крепкое горе
Так жгло, что пространство пугалось.

То вещий Борис — страстотерпец
За русскую землю ко Глебу
Рече: «Брате Глебе, мой братец,
Помочь с тобой сроднику любу

Должны мы, иначе сегодня
В беде настоит он великой».
И Глеб: «С нами сила Господня!»
В округе дремучей и дикой

Опять всё спокойно. Филиппу
Уж мнится — не сон ли всё было?
И что не взбредёт с недосыпу
В башку!.. И водой брызжет в рыло.

Однако, одумавшись, тут же
Спешит к Александру с докладом.
А тот ему: «Тише ты, друже!
Чай, Биргер услышит. Он рядом».

1971

КВАДРИГА

Светлой памяти Пушкина

Нет ничего ужасней и странней
Квадригой чёрной сросшихся коней.
Имперской бронзой ставшие навек,
Они тебя раздавят, человек!

Чудовищны четыре жеребца,
Застывшие под лаврами венца.
Звериная душа, металлом став,
Обесточила тварный свой состав.

Уже не всадник, слившийся с конём, —
Зверообразный памятник. На нём
Печатью узурпаторской узды —
Ездок, забравший чуткие бразды.

Уже не конь, что издали — кентавр —
Над колесницей лицемерный лавр, —
Таврёный и подкованный табун,
А сверх всего — орёл, не то горбун.

Триумф когда-то горнего орла —
Звероподобье, в коем умерла
Прообраза божественная часть —
Над зверем человеческая власть.

Колёса не прибавили коню
Величия. С квадригой не сравню
Пегаса, распластавшего крыла
Превыше бронзы, лавра и орла.
Прекрасен и высок без седока
Сей конь, чьё беззаконье на века
Крылами попирает испокон
Звероподобный, вздыбленный Закон.

1972

ДОЖИВАЯ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН

Доживая до лучших времён,
Жизнь, какой ни на есть, но своею
Назову, хоть назвать не умею
Подходящих для грусти имён.

Оттого, что назвался я — груздь,
То есть выбрал шесток, или как там,
Я узнал и смирение, и грусть,
И готов к обвинительным актам.

Всё сбывается, вижу, как знал
До того, как пришлось мне увидеть.
Всяк обидел, кто мог разобидеть,
И признал только тот, кто признал.

И теперь, озираясь вокруг,
Я доподлинно знаю, кто друг,
Кто завистник, даватель, гонитель.
Посети их, Никола Святитель!

Если лучшие ждут времена,
До чего доживая, покамест
Всё тяжеле несущ бремена,
Я готов дочитать мой акафист.

Но за окнами хамство и мат
Покрывают мой шёпот с лихвою.
Что им стон мой, хоть волком завою!
Я живу, и уж тем виноват.

И затем, что, рыдая, пою
Бессловесную песню мою,
Мне смирение любовью зачтётся
И во всех, кто поймёт, отзовется.

И когда бы я вздумал роптать,
Жизнь моя эту грусть потеряла б.

Но едва ли усилиями жалоб
Я бы смог эту скорбь растоптать.

Жизнь даётся сама по себе
И едва ль поддаётся размену.
Если б мы доверяли судьбе,
То и грусти узнали бы цену.

Доживая до истины сей,
Я уж тем был подарен, что дожил.
Жизни ход сам себя обнадёжил.
Знать, и сам я в порядке вещей.

1972

ПИСЬМО К ПРАВОСЛАВНЫМ

Не желая трястись от незрячего страха,
Наблюдая по людям последствия краха
Бессловесной, за сим и жестокой веры,
Крепких слов предпринять я задумал меры.

Буде горечь в них отстоялась втуне,
Я со всеми б к имперской прибеж латыни,
Но бесстрашно Слова служа святыне,
Верю: зык мой твёрже дверной латуни.

Что с того, что двери начальства крепки
И досье «на имя» зажато в скрепки!
Именуясь русским в сердцах поэтом,
Дух мой в слове русском окреп. На этом

И стою. Итак, достояв доселе,
В простоте пускаюсь вослед Емеле
На печи, считая диван мой печью,
Ибо греет бок мне, вступаю с речью.

Но едва ли щучье тому веленье
И моё пустое, как есть, хотенье.
Я шучу не с тем, чтобы скрыть волнение,
Но уж точно с тем, что диктует пенье.

Говорят, поэт, состоя при музах,
Как ни мал, до возраста ходит в мужах.
А уж мне, дубине, кому под тридцать,
И подавно след по-мужски сердиться.

Вот и выбрал я этот слог брутальный
Из того, что есть в арсенале. Так-то!

И пока за мной не пришли из жакта,
Не замедлю грянуть сервиз хрустальный.

Подымая, что там бокал, осколок
Стаканища, ибо я нищ, и с полок
Самодельных нечего рушить больше,
Говорю, что жизнь у меня как в Польше.

Оттого и вынужден я, писатель,
Ни за грош томиться в столе. Диван мой —
Это, разве, печь, где, как швед, горю я,
А в столе — Пегаса золотая сбруя.

Со времён письма отца Кантемира
Сыновья достигли прогресса. Лира —
Над столом заменю интерьера
В виде ржавой подковы — молчит, холера.

Знать, читатель наш, оставаясь хамом,
Предпочёл газету, покончив с хламом
Наших писем. Что там писать, когда-то
Потеряв и почту, и адресата.

Вот и я о том. Но душа тоскует.
Ярославна всё, говорят, кукует.
Не о том печешься, воитель княже!
Нет смысла в храбром твоём вояже.

Не кресты, я зрю, с колоколен сняты,
Колокольцы, чай, на крестах распяты —
Скоморошья музыка страшной веры.
Как посмотришь, хари кругом, химеры.

Но и с тем сживясь по мере горя,
Я пришёл к тому, что родная харя

Балалайке тем уж сродни, что то же,
Что она на экспорт пошла, похоже.

Буде что понимаю хотя бы мало,
Скоро каждый лоб, стуча, что кресало,
О другие лбы, клеймо засветит,
Ибо, что делать, туда и метит.

Православные, сядьте в свои сортиры!
Почитайте злые на нас сатиры!
Неужели Гоголь пойдёт нам прахом?
Невозможно смеху дружить со страхом.

Закругляясь, впрочем, скажу от сердца:
Мало нам под хвост подсыпали перца.
Вот и мне поэтому не до смеха.
Сам себя и глажу, чать, против меха.

1972

НА ОТЪЕЗД ПОЭТА

Иосифу Бродскому

1.

Из таможи он вышел налегке,
Поскольку багажу предназначалось
Сопровождать его невдалеке —
Там, где крыло разлуки намечалось.
С вещами всё так: с люльки все они
Подчас до гроба служат без корысти
Своим владельцам. Бог их сохрани,
Коль сохранят черты старинной грусти.

2.

Из таможи — великий человек
На воле, если воздух наш уместно
Назвать свободой, впрочем, неизвестно
Была ли воля на пути в ковчег,
И всё же он тогда на волю вышел
И, передав старинный образок
Охране (обнаруженный при шмоне
Предмет блеснул прощально на ладони),
Шагнул к друзьям, безмолвен и высок.

3.

Мы сгрудились при нём в последний раз.
Казалось, грусть сама была средь нас
И Родина в глазах стояла морем,
И это нам сейчас простором, горем

Уже невыразимым в тесноте
Представилось, и оттого в округе
Прозрачней глаз сияние на друге
Сосредоточилось, как солнце в высоте.

4.

Но вот уже, в автобус помещён,
Поэт одною грустью освещён,
Которая, казалось нам, за дверью
Уже не уступала недоверью
К Судьбе, стоявшей Временем в глазах,
Как бы качая слёзы на весах...
Последний взмах руки, последний взор,
И вот не смыть Империи позор.

5.

Впоследствии, встречаясь меж собой,
Мы первый тост в его воспоминанье
Творили, говоря: «Свежо преданье...
Петрополь соберёт нас голубой!»
Но что нам предстояло, мы не знали.
Мы ждали почты, чуда, перемен,
И каждому из нас вослед сияли
Его глаза поэзии взамен.

6.

Так в памяти с тех пор и повелось:
Его глаза и наши — море сквозь
Прощанье проступившее — простор,
Где друга не отыщет влажный взор,
Как бы и впрямь ужасное стряслось,

И пусто стало в Питере, в душе,
Где, если и при нём-то не жилось,
То с этих пор несдобровать уже.

7.

Не знаю как поднялся самолёт,
Но, оторвавшись в полдень от земли,
Он оторвал не то, что мнилось — рот
От матери, но сына от семьи.
Гляжу на небо. Где-то в вышине,
Быть может, кто и вспомнит обо мне,
Но мне-то вспоминать о друге. Он
Пусть примет от земли моей поклон.

1972

* * * *

Я не знаю надежды кроткой
На прекрасное право — жить.
В этой жизни моей короткой
Нескончаема разве жуть.

Каждой ночью под жёлтой лампой
Поджидаю, дрожа душой:
Жизнь когтистой и тяжкой лапой
Уровняет меня с мышой.

Молодец — представитель жизни,
Насобаченный в печень бить,
Даст мне право на смерть в отчизне —
Оцет, смешанный с желчью пить.

Мне давно приглянулась горка,
Над которой незримый крест
Распахнулся настолько горько,
Что вольнее не сыщешь мест.

Прохожу вдалеке и вижу:
Это место — оно моё.
Никого с него не унижу,
Даже местность, позор её.

Прохожу и грущу сторонкой.
Долог, долог и тяжек путь.
Горечь грустной сочится ранкой,
Надрывая рыданьем грудь.

1972

МОИМ СВЕРСТНИКАМ

К чему придём, когда, вернувшись из гостей,
Где молодежь, стыда не ведая пред нами,
Застенчивость свою превысит в нашем сраме,

Придём ли мы к себе? Едва ли. Нас для нас
И в нас не отыскать. Настолько наша память
Пред нами лезет вширь, что невозможно вспомнить,
Кто были мы и что теперь упало с глаз.

Жизнь суживает всех в конечной перспективе:
И заглянувших в грусть, где даль уж стала близь.
И потому душа, чем дальше, тем ретивей
Бежит себя самой, куда ни обернись.

Итак, мы не придём туда, где нас не ждут.
Уж слишком широко за нами плещет море.
И одинокий мыс мгновения в просторе
Наводит нас на мысль, что твердь под нами тут.

И молодость других на дальнем берегу
Едва ли нам видна. Так натрудило время
Туманные глаза, что ширь пространства — бремя.
И оттого рябит волнение на бегу.

И если из гостей потерянно под тридцать
Уже бесстыдных лет мы возвратимся вспять —
Туда, где опыт наш покинул наши лица,
Мы не к себе придём, но к морю постоять.

1972

ВДАЛИ ОТ МОРЯ

Вдали от моря, в центре Московии,
Не у моря погоды — ностальгии
Тоскливо дожидаясь, грежу морем,
От детства мазан Петербурга миром.

Передо мной стоят в июльском зное
За толщей дней мечты об аналое.
Исаия, ликуй! — пою сквозь слёзы,
Кобенясь, точно ария Мендозы.

Сказать по чести, я уже помолвлен,
Тем самым фраериться обусловлен,
И по ночам, бушуя Филомелой,
Душа во мне шумит второй капеллой.

Итак, что говорить, я счастлив тем уж
Что за меня Москва выходит замуж,
И, шляясь по бульварам от безделья,
Тристаново цежу сквозь зубы зелье.

Но, между прочим, сочиняя эпос,
Никак не разрешу витальный ребус.
Ну, что решать, казалось бы, Тристану?
Ан нет, гляжу мажорного стакану.

Эх, Московия! Далеко от моря.
Столичная толпа, нутром гуторя,
Снует в слепой кишке метро, сминая
Саму себя, в кредитках, как Даная.

Но если б Зевс поял её!.. Куда там!
Содаткою по улочкам горбатым,

Узывно шевеля бесстыдным задом,
Мошну кобла в чаду ласкает взглядом.

Вот и женись на ней! Да что прибытку!
Сама берёт, греби её в кибитку,
Не то что за себя — за всю округу
Отечества, гляди, сопьёшься с кругу.

Эх, далеко от моря, хоть просторна
Невестушка! Зато премного вздорна.
За что люблю — за те холмы — блудницы,
На коих крест вся Русь столицы.

Её-то и беру, ну, скажем, в жены.
У нас обоих глотки, знать, лужёны,
Что перекрыть прибой вдали пытаюсь,
Ревём, как за стеной своей китаец.

Солёной речью становясь от шума
В потомках протопопа Аввакума,
Становимся, как в ледоставе реки,
И говорим: «Россия, лёд, навеки».
И леденеет сердце от тоски,
Настолько берега её близки.

1972

* * * *

Продмаг. Очередина. Спёртый дух.
Мясник-охотнорядец и кабацкий
В кровище чёрной выговор дурацкий.
В густых руках зарезанный петух.
Старуха — московитка. Речь её
О трёх копейках как бы недоплаты.
Авоська. Аккуратные заплаты.
О, Родина! Позорище моё!

Смотрю на это всё, и в горле ком.
Ну, как я эту горечь потеряю?
Что говорить, грустна к родному краю
Привязанность, но грустью лишь влеком,
Стою и плачу русским дураком.

1972

ПОСОХ

Сыпучая Москва, читай, чужбина,
Отечество незнаемое сына.
Скрипучая судьбина. Вся и речь,
Что крыльев бечева упала с плеч.

Куда лететь-белеть? Да на свиданку
В Москву, почти в тоску, почти в
Фонтанку,
В нелепицу уже чужбины стольной.
Да где же нет кручины алкогольной?

А я-то начудил, что серафиму
Узреть престол — почти ощерить схиму
С её костями, зубами, черепами...
Возьми-ка в руки серп, тернец с шипами!

Ох, черепа, чебрец, венец единый —
Один на всех — кольцо златой средины!
А я-то уповал, и поделом,
Что наповал, вповал с кривым крылом.

А уповал, так пой! Не то танцора
Плясать дудой заставим, Гришку-вора
Отребьего, жеребьего отродья! —
Да я гошу лишь, Ваши благородья!

Сейчас же еду, Вашенство Столица!
Тут у меня, как Вам сказать, девица.
Была себе. Ушла с моей подковой.
Иду, иду... С душой моей рисковей.

Уже уехал. С, как её, с любовью.
Ну, да. Она красна моею кровью.

Их было две. Нет, больше. Всяко трое.
Ну, да, кровей, когда и речь о Трое.

Я закруглился, говорю, хотя бы
Все трое, что ж скрывать, все были бабы
Настырные. Но монастырь души-то
Стоит и по сей день, хоть всех убито

Нас было в нём: Иосиф, Толя, Дима,
Да Женя, да Олег, да невредима
Осталась лишь душа: обитель-Питер,
И тот, поди, сквозит, как старый свитер.

Один из нас, что непонятно миру,
Закрыв глаза, родную кажет лиру,
А прочая четвёрка, рвя квадригу,
По двум столицам в лицах кажет фигу.

И я один из них, как на духу признаюсь,
Почти что жеребёнок, в чём не каюсь,
Скорее, виноват, уже повыбыл,
И чем скорее, тем вернее прибьётся.

Итак, прощай, твердыня правоверья!
Лечу лечить подщипанные перья.
Бабец, привет! Я волен оттого,
Что нет во мне чего-то твоего.

Сыпучая чужбина, где твой Рим?
Передо мной встаёт барханов дым.
Что, нищета, твой посох? Не цветёт?
Зато пустыня отчины метёт.

1972

БЕЛЫЙ КОНЬ

Отечества и дым нам сладок и приятен.

Г. Д.

В то лето в наш сожжённый вертоград
Донёсса торфяной болотный смрад.
От засухи горел под нами грунт.
Вытягивались грибники во фрунт.

И в эту-то неслыханную вонь
Дым отчины вошёл, как Белый конь
В конюшню застоялых лошадей,
В сполошный гул столичных площадей.

Ужасен белоснежной красотой,
Он поражал не белизною той,
Но самоим явлением её,
Как трубочиста свежее бельё.

В то время, как пожарный окоём
Нас поражал стожарами, на нём
Прекрасна, точно горние снега,
Запечатлелась русская выюга.

Какие беды он знаменовал?
Кого ж в России конь сей миновал?
Но то-то будут Святки в деревнях,
Когда зима к Успенью при дверях!

Скудея и грустя день ото дня
Всё более, на Белого коня
Глядели мы тоскливей с каждым днём,
Всё думая, что с глаз его смигнём.

Но Белый конь ходил то здесь, то там.
За ним уже легенды по пятам
Тянулись, точно сей новейший миф
Кочевником восстал, как древле скиф.

Какую же из всех судеб и волю
Он предварял? — Я думаю, что боль
Растерянных племён в глухой степи,
Дым отчины. Господь нас укрепит!

И мне глаза тот дым, я помню, ел.
В то лето Белый конь в сердца смотрел.
Что видел он? — Звериную тоску,
Да седину у многих на виску.

Россия! Вертоград сожжённый мой!
Куда пойду? Один ответ: домой.
О, этот Белый конь, российский снег!
Одно для нас пристанище — ковчег.

Домой! Домой! Скитальческая рать!
Дым отчины зовёт нас умирать
В кругу забытой нами нищеты.
Вот, Белый конь, что знаменует ты.

1972

ЗАВЕЩАНИЕ

*Забвена буди, десница моя,
Аще забуду тебе, Иерусалиме!*

Здесь, в России моей родимой,
Нищетою непобедимой,
Окаянной, святой, дремучей
Завещаю на всякий случай:

Схороните живую душу
В нашей речи! Невместно мужу,
Кто глаголом облёкся, яко
Смерд кольчугой, пропасть двояко:

Прежде в глине, а там и в речи.
Пригодятся и наши плечи —
Эти думы и эти песни,
Как духовной придёте бездне

Завещаю молитву сына
О родителях наших. Глина,
От которой сосуд скуделью
Пребывает, состав изделью

Однородный даёт. Что было,
То и будет. Кувшинно рыло
Эlegantней не станет, разве
Им познается безобразие

И найдётся такая полка,
Где, затерянный, что иголка
В стоге сена, не столько страшен
Обретётся, уж тем украшен,

Что на месте весьма устойчив.
Впрочем, всяк на своём настойчив.

Что же нам в зеркала плеваться,
Коли рожа крива! Ведь братца

Всяким любит, поди, сестрица.
Над своим ли родством глумиться!
Завещаю не помнить лихом
И того, кто не вышел ликом.

Всё в природе, я зрю, уместно,
Даже то, отчего нелестно
Посмотреть на себя порою.
Всё послужит известну строю.

Потому не забыть ни Стеньки,
Ни иного кого в застенке.
Если всех нас Творец не терпит,
Каждый чашей своею черплет.

По заслугам! Но все мы дому
Подносили поджечь солому.
Помяните нас пепелищем,
На котором нагреться нищим!

И ещё прошу: помяните
И меня! В глухом лабиринте,
Как Тезей пробираясь, это
Написал я в преддверье света.

Град пресветлый мне в сердце зрится,
Где вражда моя примирится,
Ибо добропобеден каждый,
Кто видал его хоть однажды.

Спасов град — нашу цель едину
Завещаю простолюдину,
Ибо то, что премудрых судит,
Лишь младенцам открыто будет.

1972

ВИКТОРУ КРИВУЛИНУ

Конченный, почти полубезумный,
Семьдесят второго декабря
Дикого столетия, храбря
Не себя, кого-то за спиною,
Не пишу, увы, скорее, вою
В тупике ночном календаря.

Друг подполья, юности червлёной
Страшным крапом крови ледяной,
Красным страхом переохлаждённой,
Слышишь ли, оружием прободённой,
Жуткой жизни шелест слюдяной?

Тсс!.. — Шепчу. Подполье до беззвучья
Хоть кого, сжимая, доведёт.
Нет, не тишина — безумья лёд
Обжигает сжавшуюся душу
И кровавит легкие, наружу
Платяной выкашливая мёд.

Брат подполья, юности краплёной
Сволочью, втравившею в игру
Лучшее, что было из зелёной
Толчеи надежд, ужель озлённой
Ждать мухли, ещё ль метать икру?

Что играть! Разыграна подполья
Сволочью зелёна толчея.
Ни надежд, ни юности. Плюя
Ледяной, разжёванной кровью,
Я кладу колодой к изголовью
Календарь, где братья — ты и я.

1972

В ГЛУХОЗИМЬЕ

Т. Г. Гнедич

Седая стынь. Дымит ледовый лютень.
Мерцает снеговеющий простор.
И ухо рвёт оркестр стозвонных лютен —
Студёный жар, куда ни бросишь взор.

Искрят и пышут лютые Стожары,
На дерево влезает Орион,
И сивером свистят во все Ижоры
Бельт ледяной и норд со всех сторон.

Гремучая свирель зимы-владыки
И व्यюжный Лель обращенных лесов
Зовут в Аид на голос Эвридики,
Но лютовей сифонит с полюсов.

И нет надежны русскому Орфею
Растрогать лёд, сивеющий в снегах.
Но, лиру взяв, и я в душе робею
На опустевших Стикса берегах.

И если бы неверье обороло,
Не тронула б струны живая скорбь,
И на Неве не слышали б глагола,
Сошедшего звездой в ледовый гроб.

Но дрожью световой пронизан холод,
И лучезарен смёрзшийся гранит,
Поскольку светоч веры — звёздный ноль.
Что адамант Петрополь наш гранит.

1973

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ

Кто там скачет, хохочет и вьюгой гремит?
Это Санктъ-Петербургъ. Бронза, хлябъ и гранит.

Не Орфей, не Евгений, но, ветром гоним,
Со стихией — стихия — беседую с ним.

Петербург — это больше чем город и миф.
Слышу вой проводов. Это — лирный прилив.

Город мой! Всероссийский, аттический бред!
Сколько слышал ты диких и тихих бесед!

Не твоей ли красы золотая тоска
Нашей лирной грозы изломила каскад?

Я люблю твой знобящий, завьюженный вид,
Город жизни моей, жуткий сон Аонид!

Нет, не Тибр и не море — студёная зыбь
Петербургской Невы, инфлюэнца и грипп...

И не стон Эвридики, но струнная медь
Будет в сердце гранита нестройно греметь.

За надрывную муку орфических струн, —
Заклинаю тебя, Фальконетов бурун, —

Вознеси мою душу превыше коня,
Или призрачный всадник раздавит меня!

Но за дивную мощь триумфальных громад
Я готов и к погоне, и к визгу менад.

Кто там скачет? Ужели незыблемый конь?..
Сколько русских певцов — столько грузных погонь.

Сколько грустных провидцев, над каждым — Ликург.
Кто там скачет? То — Кастор. Держись, Петербург!

И за ним — Полидевк... Диоскуры в ночи.
Это Пушкин и Лермонтов к вам, палачи!

Это Клюев и Блок по пятам, по пятам...
Ходасевич, Кузмин, Гумилев, Мандельштам...

И Эриния с ними — Ахматова... Ах!
Я ещё там кого-то забыл впопыхах...

Но довольно и этих. Стихия, стихай!
Эх, Россия, Мессия... Кресты, вертухай.

1973

БОРИСУ КУПРИЯНОВУ

*Кто выдумал, чтоб жизнь была беда,
А самой страшною бедой была свобода!*

Б.К.

Ты ли, юность жестокая, душу его сокрушишь!
Вот прошёл я вратами ревущей дороги Улисса,
И со мною — один, благодатною силой Зевеса
Уцелевший пловец, ставший мужем в скитаньях, малыш.

Пощади его, Рок! Он — единственный жуткой Афины
Копьеносец смиренный, и бранью её, не броней
Пред тобой утверждён. Дикий посвист его соловьиный
Рвёт мне душу, и раной болит, и гремит предо мной,

И заслушался я, поражённый. Какое смирение
В этой песне унылой и рвущей из сердца печаль!
О, владычица мощная! Жизни суровой не жаль,
Только б слышать такое, тобой просветлённое пенье!

1973

ОБОЛ

Горечь тёмно-багряная,
Да синющая грусть,
Да усмешка, чуть пьяная,
Стыд, который не скрасть.

Вот что, Родина, вижу я,
Чуть закрою глаза.
Ужли жизнь моя выжила,
Если правду сказать?

Вся душа моя, дума в ней
Ужасает и жжёт
Этим красным безумием,
Что в кровище поёт.

Искровавлен татарщиной,
Удалую пою,
Будто колокол с трещиной
Где-то в древнем бою.

Горечь песни таинственной
И палящей гортань,
Песни сердца единственной,
Изводящей, как стон, —

Извела ли, изжалила
Грустью душу мою,
Но, в слезах изоржавлена,
Топором в полынью.

Близи, дали посвились.
Бездну зрю пред собой.

Жутко. Сжался уж, смилуйся
Над безлюбой судьбой!

Оттого ли, что страстная
Мне молитва дана,
Но вздымается красная
И большая волна.

Укроти уж ретивую,
Ретивого и слёз
Покаянных с крапивою
Не отрини, Христос!

Захолустная, жгучая —
Вот душа моя. Пусть
К ней хоть ива плакучая
Приклониться, но грусть!

Только горечи, горечи,
Да стыда не избыть
Перед матерью, смотрячи,
И не зная любить.

Бесноватая Родина,
Беснованье прости!
Что-то в сердце украдено.
Но в сыновней горсти

Я принёс тебе, нищенке,
Мой последний обол,
И холщовый, и чистенький
Твой целую подол.

1973

БАЛЛАДА О СВЯТОРУССКОМ БОГАТЫРЕ СВЯТОГОРЕ

В горе Елеонской до Судного дня
Угряз богатырь Святогор.
Орлами обглоданы кости коня,
И Ангелы в небе ведут разговор,
Да тихо ржавеет броня.

И слышно порою: седой богатырь
За русскую землю вздохнёт,
И Ангел небесный, звезды поводырь —
Той самой, ведущей Илью в монастырь,
Слепою звездою мигнёт.

И Вера, Надежда, слепая Любовь
И мать София в слепцах
На миг прозревают, и в тусклых сердцах,
Незримою святостью не отмерцав,
Огнём возгораются вновь.

И, чу! Из-за леса встаёт, из-за гор
Седой бедоносец, могучий Егор,
И кольцами вьющийся змей
Вплетает шипение в Ангельский хор,
И Деву сжигает сильней.

Но в ризах сияющих, грозно светим,
Грядёт из Сарова святой Серафим:
И кроток, и нищ, и суров.
И Сергей, и Нил, и святители с ним,
И силы нездешних миров.

И роют канаву, которую змей
Не сможет пройти никогда, а за ней

Воздвиглася ныне гора.
И Дева из сумрака видит ясней
Дружину при свете костра.

И сам Святогор с Елеонской горы
Вздыхает в земле до времён, до поры,
Покуда идёт разговор,
Кто сбросит мерзителя в тартарары.
И Дева глядит на собор.

1973

* * * *

То ли жёсткое мужество жизни —
День за днём в неизменном труде,
То ли просто служенье Отчизне,
Но, живя год от года железней,
Я всё больше сживаюсь с песней,
О которой не слышал нигде.

Что за чудные струнные звуки,
О которых не слышал никто!
Будто лирой гремящие руки
Или просто молчанье от муки,
Что натружено горло... И то!
Что ни день, то молчанья излуки.

Что ни день, то мучение ею —
Неуслышанной песней моею,
За которой всегда впереди
Что-то тихо играет в груди.

Может быть, — это мужество жизни,
Может, просто — служенье Отчизне.
Или это волна за волной
Речь моя забавляется мной?

1974





время надежды

Религиозное возрождение

Время надежды

(1975 – 1988)

РУССКАЯ ЛИРА

Памяти Г. Р. Державина

Есть несколько стихов на памяти народа.
В них вся душа его судьбы.
Какая боль, печаль, отрада
Ждать Гаврииловой трубы!

Всю, всю тебя, земля родная,
Небесный Царь благословил!
И древней святостью от края и до края
И мглой священной могил.

Истории летейский шёпот
В твоих недрёмных камышах.
В державинских стихах — орластый клёкот
И речь смиренья в падежах.

И рабство, и труды, и клич военный,
И грация, и дремлющая мощь
В судьбе твоей коленопреклоненной,
И ширь степей, и говор рощ...

И посвист вынужденный бунта.
Несмысленный, нещадный вой,
И красного метанье банта
В тоске имперской, площадной...

И очистительный Крещенья
Трескучий благовест — мороз.
И бесполезное землевращенье
Истории колёс...

И снова мощью Святогора
Колеблемая твердь.
И слух надмирного в соборе хора,
И смертью попранная смерть.

Преображённая святыня
В преображённой глубине,
Ужель тебе — «Россия» имя,
Душа на Белом скакуне!

Дракон, твоим копьём пронзённый,
Сжимает кольцами хвоста
В тоске железной и зелёной
Невесту Господа Христа.

Но есть на памяти народа
Вселенской горечью облитые стихи.
В них дышит мир, терпенье и свобода —
Богосвидетельство стихий.

И правдой лиры пробуждённой
Звучит Божественный глагол
В душе судьбы твоей земной и прирождённой,
В устах, запечатлевших боль.

И я, оратор твой смиренный,
Земля словесности родной,
Над пажитью твоей нетленной
Шепчу: «Пой, жаворонок, пой!»

1975

НАШ ПУТЬ

*О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!*

А. Б.

Путь кротости, покорности и воли
К терпению и правде. Ясный путь.
Иной и не отпущено нам доли.
И не по силам, — хочется вздохнуть.

Другие пусть, невольничьей свободой
Растленные, глумятся над тобой.
Но я, Святая Русь, не позабуду,
Что ты была Господнею рабой.

И пред Царём Небесным — прах и трепет —
Я тихие колена преклоню
И за твоё смирение и ропот
Всю жизнь мою в мольбе испламеню.

Де не сойдёшь с пути, не ошибёшься,
В распутицу и в бурю устоишь,
И если я окликну, отзовёшься
И сердце от меня не утаишь!

Наш верный путь — стезя душевной боли
За все и вся, заблудшие во тьме.
И если гонят нас путём любовей,
И под бичом сходить с него не смей.

1975

ТРИ ЭПОХИ

Есть три эпохи у воспоминаний
А. А.

«Кто взял Париж? Кто основал Лицей?» —
Какой-то Александр без погребенья.
Его начало дней в стихотворение
Вместилось, а сам он Кузьмичом
Прославленным, с котомкой за плечом
Ступнёю обагрил каменья.
Каких ещё искать нам панацей?

Век золотой представился. Vivat
Серебряному веку! Он не знает,
Где приклонить главу. На нём зияет
Сквозная рана. Маленький солдат...
Куда смотрел он? — В землю, говорят.
Россия стала им вместо гроба.
Здесь в крепости их нет. Пропали оба.
Век бронзовый тускнеет на дворе.
Прекрасно начал. Спит в монастыре.

Все трое обанкротились. И Музы
Простили им стеснительные узы.
Триkrát счастлив, кто посетил сей мир,
Когда гремела медь правдивых лир.
Властители по правде нашей живы.
В эпохи лжи и власти наши лживы.
Терпите же и горшее, глумясь,
Когда в сердцах окаменела грязь!

Солома для огня. Огонь — соломе.
Кому повем в Гоморре и Садоме

О горечи, какой налитан стих,
Когда уже трещат костры шутих!
Ещё чуть- чуть и ... Что там! Боже правый!
Куда бежать, когда такие нравы
У кесаревых толп, что трёх эпох
Урок для них сомнителен и плох?

Все три, а если вспомнить и четыре,
Искали собеседников на пире.
Но я считаю троекратный гром,
Когда крестился наш мужицкий дом.
Три царственная лира возвестила.
Три краха. Впрочем, третий — это сила
Грядущего. Сейчас уже молчу.
Передо мной последняя могила.
«Что скрыто в ней?» — смущённая спросила
Душа. — Да так. Ответить не хочу.

1975

МУЗА

Что сделал я тебе, держава?
Мой путь среди твоих путей.
Но где, свободы гений, слава
Тобой задушенных детей?

В каких столах первопрестольных
Они по гроб погребены?
Что — звоны песен алкогольных?
Что — наши творческие сны?

Куда ж нам плыть? Не к Магадану ли!
Ещё чего! Ужели в Рим?
Что — наша Муза? Ужель замуж
Пойдёт под грохот кулеврин?

Нет. Неподкупною дорогой,
Сто раз охаянная, вновь
Она с сумой своей убогой
На твой костёр пойдёт, любовь!

А грохот пушек отдалённый
Её уход предвозвестит.
И этот стих мой очервлённый
В её ладони заблестит.

Вот что наделала ты, сила!
Взгляни на горький сей стигмат!
Но, что прощенье воскресило,
Скорбящая оплачет Мать.

1975

НИЩЕТА

Всё отнято у нас. Но живы мы.
Отыметя и жизнь — мы не умрём.
Так чем и души наши подвижны?
Каким таинственным огнём?

Всё для Тебя возможно,
И верю я: Ты дашь нам хлеб.
Гори, душа моя, без копоты,
Пока во тьме я не ослеп!

Свети в пути земном и нищенском!
Ещё немного дотерпеть,
И в тихом шуме Благовещенском
Нас примут с Ангелами петь.

И сколько жили Христа ради мы,
Зачтётся нам на небесах.
А те, кем были обокражены,
Всё получили в телесах.

И, если и суму у нищего
Отымут, пусть их, не мечтай!
Нельзя отнять лишь присно сущего.
Всяк богатится нищетой.

1975

КОЛОС

В забытый Богом чернозём
Я брошен был — зерно чужое.
Кем приговор произнесён
И что в нём — доброе иль злое?

Быть может, пожелал Творец
Произрастить пустынный колос,
Чтоб отказать мне наотрез
Услышать нивы шумной голос?

Но для чего Он дал взамен
Угрюмую, как дёрны, волю?
Смотрю на дикий чёрный плен,
И колошусь, и плачу вволю.

Качаюсь, тучный, на ветру
И зёрна чистые роняю.
И, что весною поутру
Взойдёт ли рожь моя, не знаю.

Но что-то и в моей судьбе
Есть первозданное, как море.
Природа зрит в самой себе
Стихию с Богом в вечном споре.

И Бог даёт мне испытать
Всю прародимую пустыню,
Чтоб мог я правду увидеть
Как высший дар и благостыню.

И эта ширь передо мной
Мне говорит о лучшей доле.
Я сброшу груз мой в грунт земной,
И к жизни возродится поле.

1976

ВЬЮЖНАЯ ПАСХА

Андрею Геннадиеву

Задымила вьюга Фоминой неделей.
Нецветимое солнце ушло в облака.
Как же вышло, что перья зимы налетели,
Вместо радужных песен — круги трепака?

То ли пьяной слезы безобразная скука,
То ли женскою мукой влекомая грусть,
Но в грохочущем норде надрывного звука,
Будто в сердца утробе, зауськала Русь.

Что за дикие вопли! Гонимая падарь
Киммерийские мраки пронзает, крутятся.
Или двинулись недра ледовых эскадр
И арктический ужас бунтует, ордается?

Через непроницаемость в душу народа
Свищет сивер знобящий, студёная жуть.
Нещадимая наша сквозная природа.
Ледниковую память с плеча не стряхнуть.

О, весна земнородная! Сестринской лаской
Нашу душу мужичью под снегом согрей!
Кто там пляшет? Ужели топочущей пляской
Растоскуется удаль под гиблый Борей?

Не рыдай Мене, Мати! Ужель Воскресенье
Не осилит ледового бремени зла?
Кто там пляшет? — Бедовое наше веселье.
Ужли музыка смертную душу спасла?

Тепловидная радость в оттаянной муке
Наших чёрствых, дремучих, легчающих лиц.

Сколько веры народной и в страстной разлуке,
И в тоске покаянной, в душе без границ!

Всё приемлем. И эту шумящую выюгу,
И неверье Фомы, и рыданье Петра,
Глубину Иоанна, и к нашему югу
Обращённые орды земного нутра.

Первозванный Андрей, просветитель сарматов!
Ты, принёсший нам весть о воскресшем Христе!
Не забыть нам нетленных твоих ароматов,
Источённую кровь на гвоздимом кресте.

Наше сердце воистину сжалось навеки,
Умягчённое кротостью агнчей твоей.
И поныне поют Киммерийские реки:
«Нас крестил Первозванный Апостол Андрей».

И в чухонской дали отзываются токи
Новгородской Невы, разнозвучно слоясь:
«Не возможен над нами ледовый, жестокий
Древний тролль, в пустоте завывающий князь!»

Слух дошёл и досюда: Андрей Первозванный
Возвестил нашим пращурам кроткую весть.
Что же выюга!.. Ты слышишь Петрополя звоны?
Не рыдай Мене, Мати! Я всё ещё есть.

И смыкается мгла над гробницей Петровой.
Город спит. Но воскресло бессмертное Слово,
Будто выюгой спелёнуто, сбросило вмиг
Пелены, и ликует растепленный Лик.

1976

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Виктору Кривулину

Нет. Будет нам Преображенье.
Мой друг, не говори о тьме!
Живое вечное движенье
Есть и в неведомой Татьме.

Куда бы нас ни разбросало
Железо времени, Фавор
Пресуществит следы металла
В стигматы, плавающие взор.

Ужель мордовские осины
Не разгорятся в страшный срок?
Ингерманландской ночи зимы
Прейдут за гробовой порог.

И снова нищим оживленьем
Пройдёт над пашнею весна,
И жарким жаворонка пеньем
Разбудит землю ото сна.

И в ясный полдень Свет Нетленный
Пространство летнее пронзит,
И ветхий образ наш смиренный
В огне времён преобразит.

1976

ПАМЯТИ ЛЕРМОНТОВА

Он гений был. Но жизнь его души
Ни перед кем раскрыться не сумела.
И дар его змеёю задушил.
И ты, земля, вмешаться не успела.

Он в сердце тяжесть пламени носил,
Свинцовые обугленные крылья.
Хотел взлететь, и не достало сил.
Что наши вслед ему усилия!

Нам ли помочь ему? Как метеор,
Блуждал он над вершинами Кавказа.
Вотще. Упал. Погас могучий взор.
И кто продолжит нить его рассказа!

Ужасный сон. В долине Дагестана
С отверстой раной в порванной груди,
Под ливнем и грозой, он кончил рано,
Увидев чёрный сумрак впереди.

Плачь, Ангел, плачь! Ушла святыня слова.
Что петь! Найдутся ль в мире два крыла,
Орлица для убитого орла,
Что к Богу отнести его готова?

Полуночи таинственный шатёр
Сокрыл двойное жало Эльборуса.
И, точно красный уголь папиросы,
Струёй промчался жуткий метеор.

1976

ТРУБА ИСТОРИИ

М. Е. Архангельскому

Год уходящий, вот уже
Тебя теснит грядущий, Новый,
И ты смеркаешься в душе,
Уйти в Историю готовый.

Так вот что — смерть! — Былая тьма,
Круги над высохшею глубию.
Кто там скитается впотьмах?
Зачем склонился к изголовью?

«Я сплю. Не смей меня будить!» —
О, Боже! Ты, Буонаротти?
Жерло Истории гудит,
И Ночь заглохла в повороте.

Что говоришь ты надо мной?
Не разберу. Buano notte!
Так меркнут в тишине земной
Сердца, окованы дремотой.

Но проливается Судьбы
Неиссякающая чаша.
И снова брезжит медь трубы,
Суд вечности над жизнью нашей. —

«Не спите! Бодрствуйте со Мной!» —
И, головы поднять не в силах,
Я отвечаю: «Боже мой,
Скажи, чтоб всех нас воскресило!»

И нечто свыше в глубине
Безвременья восходит клубом. —
«Мария, не рыдай Мене!..
Се чаша под Мамврийским дубом».

Создатель, Господи Святый,
И Ты, Сладчайший Иисусе,
Нисшедый в бездну с высоты,
Я вижу светлое изустье!

Се Вифлеемская Звезда,
Звезда Предвечности — София.
Везде, всегда, светла, чиста.
Се Рождества лучи святыя.

И в Тайне Свет почитет Сей.
И потому Его не видим.
Гряди! И смерти мглу рассей!
И мы, как сон, из жерла выйдем,

И обретёмся во плоти
Перед Тобой, Родитель Слова.
Но, если хочешь, воплоти
Всю немоту давно былого!

Да исцелимся ото сна
И тусклых грёз оцепененья,
Чтоб Гефсиманская весна
Расшибла в душах ада звенья,

И в кроткой ясной тишине
Преобразила недра века,
Где, иссушённая на дне,
Уснула святость человека!

Источник вечности, в сердцах
Не иссякай в душевной боли!
Погаснет солнце, отмерцав,
И в звёздах отзовётся поле.

И рано утром вспыхнет край
Неистощимого Востока.
Труба Истории, играй!
Играй! О, как же ты жестока!

1976

ЗРЕЛИЩЕ

И снова жить по-новому, и вновь
Новеть и обновляться, по старинке
Ходить на службу, спать, не видеть снов
И время коротать, грустя в сторонке.

А лучше вовсе устраниться внутрь
Того, что называют созерцаньем.
Расцветки вечеров, оттенки утр,
Полутона, смерканье и мерцанье.

Заря, закат. Привычной новизны
Старинный ритм, увы, без модуляций.
Бессмертье нищеты — закон казны
И капитал грядущих популяций.

Не в Бога богатеющая новь,
Распаханная лемехом народным.
Закаты, зори — всех оттенков кровь.
Давай глядеть на мир такой нарядный!

1977

НЕБЕСНАЯ РОССИЯ

Памяти Даниила Андреева

Если есть Небесная Россия,
То легко найду на карте той
Очертанья Родины Святой,
Те же имена её простые:

Киев, Петербург, Москва, Печоры,
Саров, Брянск, и Новгород, и Псков,
Те же реки, рубежи и горы,
Имена народов и веков.

И, насколько украшена ни будет
Эта преднебесная страна,
Утлые найдутся времена,
О которых жизнь моя не судит.

Всё нищает в них: земля и небо,
Горы, недра, бывшие леса.
То ли недород живого хлеба,
То ль скудеют в нивах чудеса.

Что же говорить о том сегодня!
Узнаю, и плачу, и молчу,
И гляжу в затылок палачу.
Да свершится срок Суда Господня!

Но и тем подарен я, быть может,
Что живу в сторонке на Неве.
Вы, читатель, устранились тоже.
Сколько посторонних сыновей.
Родина, Небесная Россия!

Да простится наша немота,
Только Русь давно уже не та,
И молчат, молчат её святые.

Что же, дар молчанья — дар терпенья.
Но доколе ждать нам в стороне?
В небесах ли — петела хрипенье,
В храмах ли земных — страстное пенье,
Но Христос воскреснет в сей стране.

1977

ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Твердыня трёх веков Петра и Павла
Над руслами имперских поздних дней,
Ты к устью праистории припала
И крепостью возвысилась над ней.

Ты в заточеньи цезарепапизма
Себе самой темницею была,
Приузом власти стянутая присно,
Лишь в небесах крылами процвела.

Сосредоточив прах порфириносный
На малом островке среди Невы,
Ты запустенью предана, увя,
И мерзостью куришься папиросной.

Но и в паденьи нашем величава,
Ты Судный день возвышенно трубишь,
И над тобой досель почиет слава
Петра и Павла в щелях тусклых ниш.

Так говорит Господь. И подобает
Нам головы смиренно обнажить,
Когда никто к сей правде не добавит
Величия, для коих стоит жить.

Лишь праведных величество и сила —
Первоверховных Павла и Петра —
Апостольская вера воскресила
И вывела на волю до утра.

И се ключи и меч освобожденья,
Священный Крест и Ангела труба
Дарованы в ночи до пробужденья
Твоим гербам, гранитам и гробам.

Тогда заговорят врата и цепи,
Ударит медью колокол живой,
И горделивых сих великолепий
Коснутся мирт и воля над Невой.

До тех же пор ещё в упадке сиром
Ты вековой очам являешь склеп,
И чернью погребённая, порфирой
Вещаешь миру власть судеб.

Но и в такой угрюмой дрёме
Ещё досель ужасна ты
В полуденном зловещем громе
Всенаводящей тщеты.

1977

СОБОР ЧЕТЫРЁХ РУССКИХ ПОЭТОВ

Передо мною гадательный Блок —
И трезвения столп — Гумилёв.
Мне открыл светоявленный Бог
Пламена серафических слов.

Два провидца — кремень и туман,
Тайновидческий мглистый распев,
Яснозренье пророческих ран,
Две дороги — смирение и гнев.

Грусть Петра и карающий меч
Просвещения Павла — глагол
Сокрушённого сердца, сиречь
Два таланта — единый обол.

Кто кремень? Где туман? — Посмотри!
Путь всё тот же кремнистый блестит.
Иль взаправду их было все три?
Только третьего грудь не вместит.

И четвёртый приходит пророк.
Он всех прежде в пустыне томим.
Потому и предрёк, и прорёк —
Шестикрылый придёт Серафим.

Из Сарова в пустыню ко мне
Он принёс драгоценных камней
Голубую лазурную горсть —
Светловерженный пламенный гость.

«Выбирай, говорит, — самоцвет.
В них подложного жребия нет.
Каждый твёрд и стоит на своём.
Все небесным сияют огнём.

Все убиты и каждый воскрес.
Все отвержены. Вот Михаил,
Николай, Александр. Их крест
В основанье словесных стропил.

Се Господь положил пред тобой
На ладони пустытника храм.
Каждый — купол, кристалл голубой.
Камень пятый — спасительный нам».

Поглядел я, и чистый алмаз
Предо мною меж них просиял.
«Тот, который — спасенье для нас, —
Говорю, — Да спасёт россиян!»

«Несть пророка в отечестве сем, —
Отвечает мне старец в сердцах, —
Жребий выбран тобой насовсем.
Вот — возьми! Не прогневай Творца».

И померкла словесности твердь.
Лишь Евангелья светит лазурь,
Победившая смертью смерть,
Воскресившая душу от бурь.

И в струях серафических слов
Пушкин, Лермонтов, Блок, Гумилёв
Воздвигают соборы кресты,
Где пред Богом предстанешь и ты.

1977

НАШЕ СЛОВО — СВОБОДА

Наше вольное слово — свобода —
Налетит, расшибая сердца,
И заслушаюсь — горе забуду,
Повторяя глоток без конца.

В горле ком, и, в груди расширяясь,
Набежит океанский прибой,
Закоснелую глыбу сжирая —
Диабаз в глубине голубой.

И рассветлится жаркое солнце
Благодарных оттаянных слёз,
Освежая граниты и сланцы,
И гремющий в камнях купорос.

Сердце траппов — подспудная мука
Громовых содроганий земли,
Размягчайся от вольного звука,
Излиянию магмы внемли.

Это слово родное — свобода —
Раскалённая в ранах руда,
Мягкосердая мать-порода
Сотрясает свои города.

Оплавляя жестокие орды
Кровяных и кровавых аорт,
Сокрушает властителей гордых
И низводит их в бездну — за борт.

Там они — в том бедламе кромешном,
Посреди цепенеющих руд

В омертвении своём неизбежном
Злые цепи друг другу куют.

И, ковчегом над ними всплывая,
На волне воздымая до звёзд
Кров земли, вся Россия живая
Испытует свободы охлёт.

1977

ВИДЕНИЕ ЩИТА

Елене Игнатовой

И полнолунья мутное пятно
В моё окно вошло уже под утро,
Часам к шести, — тревожный жёлтый щит
В клочущем тумане перламутра
Свинцовых туч, и, бронзою горя,
Ушло в сырые лазы ноября,
На западе — за траверзы Кронштадта,
Плывущего, точь-в-точь Левиафан,
В густую фиолетовую бездну.

И брезжил золотой мажор фанфар
Покуда на щите, уже багровом,
Качалась ветвь перед моим лицом,
И я глядел на тусклые рельефы
Сползающего медленного длака,
И это был мифический мираж —
Видение ахилловой эгиды.

Но что клубилось на лице щита —
Я не прочёл. Скорей всего, на нём
Передо мной зеркальная Горгона
Изобразилась. Вещий Петроград
Исакия — там, за моей спиной
Из толщи лет выглядывает Персеем
У стонущих гранитов Андромеды.
И, может статься, на его щите,
Как волосы, ещё змеился ужас.

И что за гостя в комнате моей
Стояла до утра — не скажет Муза.

Иль то был сон — видение щита
Над разорённым новый Илионом?
Зловещий сон. Столица занята.
Наречий сонм казался медным звоном.
Я встал. В окне зияла темнота.

1977

* * * *

Вот и запели горящие волны —
Красные волны огня.
Близятся геннисаретские чёлны —
Вести последнего дня.

Вот и подземные слышу удары —
Дрогнуло недро Земли.
Мир обновляется каменный, старый.
Грохоту лавы внемли!

Грозный циклон, разгоняясь над бездной,
Свищет огнём буревым.
Распространяется сумрак межзвездный
Временем тварным, живым.

Днесь переполнено гнева точило
И проливается Ковш.
Арктоса вечные блещут светила
В нашу надменную ложь.

Зыбь океанская. Дрожь семизвездья.
Атмосферический мрак.
И надо всем — о циклоне известья —
Нового времени знак.

Да преисполнится Ангела чаша
Нашей последней мольбой
О тишине, тишине величайшей
Здесь, на Земле голубой!

И да прольётся премирное миро
В недра всемирных стихий!
Ты же смирись, наша мерная лира,
Русские грусти стихи!

1977

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ НАШЕЙ СЕВЕРНОЙ РОЗЕ

*Но где твой трон сияет в мире?
Где, ветвь небесная, цветёшь?
Г. Д.*

В наш век отчаянья и лжи,
Всеобщих мятежей кровавых,
Все вековые рубежи
Колеблющих, пришли мужи
И рыцари деяний правых,
Поля задерновели в травах,
Сверкает серп у корня ржи.

Но сохранил Всещедрый Бог
Тебя, нордическая Роза,
Над кровью страшных сих эпох,
Где, что ни отблеск, то — сполох,
И всё уж не стихи, а проза,
И стало мезью *maestoso*,
И соловей в рыданьях плох.

И всё же есть ещё в груди
У русского поэта клёкот.
Орла паренье, погляди,
Есть знак державный впереди —
Державинский орластый рокот,
И крыльев Духа грозный грохот
Рокочет: «Кроткая, гряди!

Гряди на этот сердца трон,
О, голубица дней вечерних,
И дивной розой ущедрён,

Да устоит веками он,
Не поколебленный от черни,
Увенчанный тернцами терний
Окровавленных тех Имён».

И ты сияешь мне, душа,
С пасхального сего портрета,
Как роза Юга хороша,
Чиста, пленительна, свежа,
Но Розой Севера поэту
Всё гредишься, и краше нету,
Когда глядишь, во мне дыша.

И я, опальный стиходей,
Поэт опального народа,
Досель в багряной сей Орде
Томимый совестью, в стыде
Пред ветвью царственного Рода,
Богopodobная Порода.
Пою тебя за всех людей.

И днесь в Воскресный наш канун
Я, восклицая: «Благодарствуй.
Душа моя!», и мирных струн
Слегка рокочущий Перун
Смиряю перед Божьим Царством,
Грядущим в Славе по мытарствам,
Как бы волны морской бурун.

1978

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Родился я в час ночи на четверг —
На Феофана милостью Господней.
Бог дал мне жизни дух и не отверг
Дыханья моего и посегодня.
Тишайшей ночью золотой поры
При ясном небе над родной Фонтанкой
Я принял звёзд природные дары —
Живые души листвяных останков.
Всю ночь кружилась над рекой листва
И падала на зеркало созвездий.
И в полвосьмого солнце торжества
Взыграло в синеве с душою вместе.
И с Крюковки пронёсся надо мной
Мой первый ранний благовест. И тайно
Мне улыбнулся Ангел за спиной,
Незримый над пелёнкой повивальной.
И Бог благословил меня, когда
Впервые в храм внесли меня под своды
Никольского собора, навсегда
Крестив меня Крещением Свободы.
И я храню священный дар Христа,
Превыше всех даров приняв Причастье.
И Бог отверз мне для хвалы уста,
И я пою с тех пор об этом счастье.
И в тридцать и четыре полных лет
Встречая вновь четверг на Феофана,
Благодарю во тьме светящий Свет
И благовест, ударивший так рано.
Мне жизнь моя дарована сполна,
И за неё пред Господом в ответе,
Да вижу Свет Его, да мне Он светит,
И всё, что есть небесного в поэте, —
Душа, да хвалит Господа она,
Где б ни жила: при жизни и в посмертье.

1978

ДУМА

Тихий, тихий шелест
За моим окном.
Листья осень стелет.
Дума об одном.

Но о том потайно
Боль велит молчать.
Слышен отзвук дальный.
Сердцу различать:
То ли город это,
То ли жизни шум.
Гул рождает эхо —
Горечь едких дум.

Сладкий, сладкий шелест —
Поздняя листва.
Сердце бьёт тяжёле —
Тайна естества.

То душа страдает
И молчит, молчит.
Осень как рыдает
В северной ночи.

Вся-то жизнь проходит
Пред умом моим.
Отзвуки в природе.
Чем же я томим?

Или с Богом спорю?
Иль прощаюсь с ней —
Напоённой горем
Жизнию моей?

Никого винить бы
Не пристало мне.
От моей женитьбы
Стало мне тесней.

Вижу — катастрофа
И безумье. Что ж!
Наплывают строфы —
Гибель ни за грош.

Наплывают думы —
Думы об одном,
Городские шумы.
Судьбы кверху дном.

Всё-то изувечил
Злобный сатана.
И ответить нечем.
Гибнет вся страна.

Но молитва к Богу
Слёзная идёт.
Свободи дорогу,
Русский идиот!

Не блудите, жёны,
И несите крест!
Город прокажённый
Блуд ночами ест.

Сатана в работе.
Блуд терзает нас.
Я страданьем против.
Вот и весь мой сказ.

Робкий, робкий шелест
Под моим окном.

Над душою — челюсть —
Дума об одном.

Как бы всё направить,
Раны исцелить.
Но рыдает память,
Рвётся жизни нить.

Не вините, дети,
Матерей своих!
Сатана в ответе.
Я ж прощаю их.

Послужили злобе,
Тайному студу.
Но они во гробе
Преданы суду.

Наша милость к падшим
Восстановит нас.
Чресла препояшем,
И поможет Спас.

Всю страну от блуда
Он очистить мог,
Если б не Иуда.
Но поможет Бог.

И пошлёт лечение
Чающим его.
Я скончал течение
Горя моего —

Возложил надежду
С болью на Христа.
И моя одежда
Нищая чиста.

Тайный, тайный шелест
Покаянных строф.
Нет в стране тяжеле
Этих катастроф.

Возрождайтесь, жёны!
Плачьте о грехах!
Ваш сынок роженный
У Христа в руках.

Бог нас не обидит.
Сатана уйдёт.
Богоматерь видит
Кто прощенья ждёт.

Опадают листья.
Умирать и нам.
Горечь едких истин.
Колокол и храм.

Утром дверь открыта
К покаянью всем.
Сатана из быта
Выйди насовсем!

Нам нужна Россия,
А не блудный дом,
А не то босые
В ад пойдём гуртом.

Нам нужна святая
Русь, как быть должно.
О, мечтаний стая!
Пушкина листая,
Памятно страшно.

1988

* * * *

Е.

На земле совершилось жестокое дело.
Стала рабством свобода и ужасом жизнь.
Душной плотью размножилось тёмное тело.
Превзойдя в материале материализм.

И любви на людей у земли не хватило,
И энергией адской разверзлась она.
И нездешняя злоба сердца оглатила,
И вспомнилась всюду Иуды вина.

И природа сама, помертвев, оскудела.
Несемейное семя размазалось в слизь.
И любовь у отцов к матерям охладела.
Вот когда на страдания мы родились.

Но Покровом незримая Божия Матерь
Осенила сиротское племя детей.
И душа воздохнуть в неземном аромате
Так и тянется к Небу в безмолвной утрате,
И рыданья земного не знает святей.

1978

ВЕТР ПРОРОЧЕСКИЙ

И в эти дни предвестья — ветер к нам
Нагнал тепла от Запада, и море
Вдруг ринулось к Петровым берегам,
С нахмуренной Невой водами споря.

И день грядый нам тайну распахнул —
Великое спасение России.
И радостный морской стихийный гул
Предвозвестил о том, что мы просили.

И тёплая светлеющая даль
Сказала нам пророческое слово,
Сверкая, как закованная в сталь,
Того гляди, клинок поднять готова.

Но в этом блеске, тусклом и сыром,
Радужная была к победе воля,
Как бы неся нам воды, тёплый гром
Ударил вдруг, сверкаяюще глаголя.

И всю Россию пройде весть весны
Средь ноября, задолго до прихода
Пасхальных дней, нам осветивших сны.
И, пробудившись, в нас поёт природа.

И затемно встречая вольный ветер,
Мы видим, как в душе морской светает.
И вестник пробужденья тёпл и щедр.
И к нам вернулись даже птичьи стаи.

И всебалтийский слышится напор,
Ликующий, живой славянской речи,

Как будто мы дремали до сих пор,
И вдруг, восстав, галдим по-человечьи.

И слушаем: не мы, но Дух над нас.
И кто-то вдруг запел: «Христос Воскресе!»
Воистину прошёл пред нами Спас
И распахнул нам двери в преднебесье.

1978

ЧИТАЯ СОВЕСТНЫЕ ЗНАКИ

Читая совестные знаки,
Я многое сказал при жизни.
Но то, что затмевают мраки,
Мне светится в иной отчизне.

Когда умру земною смертью
И стану судорогой тлена,
Пойду к незримому бессмертью
И выйду в ширь его Вселенной.

Там над страстями, скорбями — выше
И слёз, и горечи, и боли,
Над голубой воздушной крышей
Я обозрю ладонь юдоли.

И узрю город мой, Невою
Прорезанный, как мутной Летой,
И залюбуюсь поневоле
Знакомою ладонью этой.

Вот здесь я жил, живу и прожил,
И нет меня. И Ангел видит,
Что горя не было дороже.
И кто поймёт? И кто обидит?

Передо мной, как на ладони,
Унылых лет серопогодьё,
И память тонет, тонет, тонет,
И наступает новоедье.

Другая жизнь, иные выси.
Инакобытие. Молчанье.

И свет, и радостные мысли.
И в честь нежданное венчанье.

Но остановит за плечами
Мытарства горькая разлука.
Я вспомню тополей качанье
И колокольный звон. О, мука!

И жизнь мою в слезах увижу —
Всю долю бед, всё унижение,
И, повергаясь ниже, ниже,
Войду в земное притяжение.

И, обойдя беззвучным словом
Всё поприще моё, все казни,
Для лучших дней воскресну снова,
И худшее во мне погаснет.

И покаянною молитвой
Меня соделает Создатель —
Бескровной, радостною битвой —
Победой мирной благодати.

И вы ко мне тогда придёте,
Кого любил, кого люблю я,
И панихидой вспомняёте
Моей судьбы недолю злую.

И, примирённые прощаньем
И теплой сердца полнотою,
Прочтёте это предвещанье,
Как бы живое завещанье.
Но я и этого не стою.

1978

ПАМЯТИ БЛОКА

Там человек сгорел.

А. Б.

Он видел всё: изверенные зори
Серебряного века, злой закат
Империи, и, знамению вторя,
Сгорел дотла, мгновением объят.

Он снежный крест над нежностью и страстью
Своей рукой магической воздвиг,
И, упоён изменою и властью
Над женщиной, от мужества отвык.

И понял он, что жить, уже сгорая,
Есть музыки, стихии тёмный плен.
И русская земля, земля сырая
Ему при жизни подарила тлен.

И принял он отверженное недро
Души народной с гибелью в удел.
И опалённый пламенно и щедро,
Отходную над родиною пел.

И демон дал ему иные крылья —
Не те, какие — Бога пламена.
И если немо тайну приоткрыл я,
То мне её явили времена.

Воистину он видел два крещенья —
Воды и Духа, мрака и огня
При двоевидном неба освещеньи —
Сиянии и мгле большого дня.

Он жертвой был и голосом России,
И взоры в наши дни из тьмы вперял,
И гоголевским смехом оросились
Глаза, когда он веру потерял.

Небесной и народной Афродиты
Он паладин и раб несчастный был.
И, страстно гвоздной раною пробитый,
Софию бедной Софьей подменял.

И не Марию звал, а просто — Мэри
Над русскою Голгофой чёрных дней.
И в безднах Дионисовых мистерий
Он видел сноп Америки огней.

Певец любви и ярости Астарты,
Он опьянялся ненавистью злой
И шифровал гадательные карты
Над лёгкою безгрешною золой.

И, гневом обуян, максималистом
Взошёл на русский жертвенный Парнас,
Рыданием и хохотом, и свистом,
И колдовским стихом пронзая нас.

И навсегда, как был, — интеллигентом
И страстолюбцем, грех свой кровью смыл.
И чёрной розой вместо красной ленты
Анархии огонь благословил.

И в том огне за вьюгой леденящей,
Последний раз Астартой ослеплён,
Кровавый флаг антихриста горящий
Он развернул над полночью времён.

И не было ни терний, ни хоругви
В руке его, сжигающей мосты.

И лишь наследье круговой поруки,
Да жезл железный ждал из черноты.

И весь он стал обугленный и гиблый.
Воистину: там человек сгорел.
Но Бог внушил ему страстные гимны,
Чтоб он пожёг нам душу, не согрел.

1978

ОГНЕННЫЙ ЯЗЫК

1.

И наконец-то всё утомнилось:
Мечты и мысли, горести и сны,
И тишина духовная явилась,
И на душе одна Господня милость,
И звуки рифм в той музыке ясны.

2.

И лермонтовских тройственных созвучий
На гласные родного языка
Легло крыло — покров его тягучий,
Взывающий, поющий и зовучий,
И на стихи подвинулась рука.

3.

И записала всё, что я услышал,
Превычная десная: трепет крыл
И Ангельское веянье над крышей,
Рождественское пение и свыше
Той музыки, что Бог душе открыл.

4.

Так мирно и младенчески открыто
Заговорило сердце в тишине,
Что вся душа, все звуки алфавита
Впитавшее дыхание, повито
Простою речью, даровалось мне.

5.

И огненный язык — Дух стихотворный,
Шум пламенный на душу мне исшёл,

И я заговорил, и непритворной
Соделалась хвала моя в просторной
Гортани, будто не был я тяжёл.

6.

И я заговорил. И это — тело
Любовью сопряжённое с душой.
И мировое мне молчанье пело,
И музыкой крыло меня одело
Гармонии примирной и большой.

7.

И малая, звучащая на взлёте,
Песнь пламени, дарованного жечь,
Запела серафическою в плоти
Искрою Духа — огненных мелодий
Глаголющих, живой, поющий меч.

8.

И Слово от меча меня пронзило —
Двуострый звук и двоевидный луч.
И откровенье светлое сквозило
В том оплотнённом славословье силы,
Сжигающих преграды плотных туч.

9.

И в небеса восхищен Словом Бога,
Аз издохнул часть лучшую души.
Прими, Владыко, жизнь мою, так много
Тобою мне дарованного слога,
И в книгу жизни буквой запиши.

1979

ОБРАЗ СВЯТОГО ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА

Я не был в императорской Равенне,
Но знаю: там святой Юстиниан
Сквозь голубой слоистый фимиам
Полуторатысячетней дали
Глядит на твёрдой каменной стене
И видит, что за дни уже настали,
Какие в становленье миновали
И что дано увидеть вам и мне.

И если суждено мне быть в Равенне,
То я зайду и в Сан-Витале, в храм,
Что сделать посоветую и вам,
Дабы узреть хотя бы на мгновенье,
Как мимолётны льстивые века.
Удерживает их сия рука
Помазанника Божия, не то бы
Открылись нам завистливые гробы
И смысла время вечности река.

Да, мы живём на этой вот земле,
А он плывёт на вечном корабле
Над нашею тщетой, и беззаконья
Свидетелем глядит в земные лица,
И, как бензойный дым, пред ним клубится
Полуторатысячетней мглы
Агония под небом заооконья,
И тишина попряталась в углы.

И я, Петра Великого страны
Поэт и домосед, насельник поздний
Империи, склоняющийся в прах,
Святому императору Европы —

Юстиниану в ноги поклонюсь:
«Взгляни, святой, из древности на ны
И удержи наш век, пока не поздно,
Пока над нами не открылся крах
И не попрали нас чужие толпы.
Услышь меня, ведь я тебе молюсь.

Ты столь похож на нашего Петра,
Что в вечности с его державой связан.
Ты кесаревою властью препоясан,
И мощь твоя от Господа щедра.
И если эти сумерки России
Тебе прозрачны, долу преклони
Твой взор и нашу темень осени
Мечом прозренья и венчанной силы.

Когда же нам погибнуть суждено,
Пролей на нас последнее вино,
Да в радости на небеса изыдем.
Но мы друг друга в темноте не видим.
И всё же твой сияющий венец
Да светит излиянной благодати
Нам пурпурным сияньем и от татей
Хранит во тьме, да скажем, наконец,
Дарованное нам Святое Слово.

И Церковь наша Господу готова.
Принести народ на поприще Его.
Да возродится град Петра святого
Над пастью змия медного, литого
И новый Пётр наступит на него.

1979

ОТЦОВСКАЯ СТРАНА

Есть грустная страна.
В антихристовой пасти
Она лежит. И правит ею зверь.
Что наши человеческие страсти!
Есть зло, которому теперь
Открыты все пути: в душу живу,
И в семя человеческих глин.
Сей зверь терзает землю, как наживу,
Разжившись «клюквою» былин.

Ему казённые Гомеры
Слагают жуткие словесные химеры,
И в овчий рог лабает лжепророк
С глазами хищными от мутных поволок.
И дух земли ему прилежно служит,
И человек под ним недужит.

Он — зверь, он — человекобог,
Он — царь, он — червь, он — сам сапог,
Под ним всё очервлено.
И яростным блудодеяния вином
Он напоил материки,
Багровые пятерики
Точь-в-точь антихриста печатью
Наляпав нагло здесь и там,
Самодержавною фаллической мечетью
Взмывая к девственным звездам.

Отцовская страна. Её пространство
Безвременьем самым напоено.
И в ней царят уныние и рабство.
И как тут быть? Ответить мудрено.
Лишь претерпевший до конца — спасётся.
Так говорит Господь, и терпит Сам.

И стадо под циклопами пасётся,
Внимая волчьим слухам-чудесам.

Но молит Богородица пред Бога
О милости к доверчивым стадам.
Дымит, клубится русская дорога.
Я за неё и жизнь саму отдам,
Когда, завидев маковку простую
Над кладбищем, где звёзды да кресты,
Пойму, зачем грущу, о чём тоскую,
В пути считая вёрсты и мосты.

1979

РОЗА ВЕТРОВ

Ревучие недра ледовых дыханий
За русской спиной в студяном океане —
Вот наша природа и наша судьба:
Шинельная одурь, ночная татьба.

Ты, Гоголь, за призраком шёл по Европе.
Шинелишку ветер не с барина ль снял?
Ты, Пушкин, за бесом шалишь в эфиопе,
И смерч аравийский тебя не унял.

Ты, Лермонтов, демона зрел у Эдема,
И жалким казался тебе Эльборус,
А ныне, взгляни, дух наш изгнан из дома,
И я возвратить его в дом не берусь.

Широкой Украиной расширься до мира,
Разорвана в клочья живая порфира,
И Ангел с трубою, крыла распластав,
Империю кличет как личный состав.

Грубят барабаны, и шире, и шире
От Юга тюрбаны, как мухи на сыре,
Щербатую катят ислама луну,
И копят в Ефрате верблюжью слюну.

И в воздухе пахнет уж Армагеддоном,
И Гог, и Магог от Востока ведомы,
И Запад готовит лучистый нейтрон,
И труд утверждает антихриста трон.

Лишь Север за нас, ибо жертвенной кровью
Да русское сердце казнимо любовью,

В широкую рану отверженных мест
Народы зовёт на спасительный Крест.

И в заклтый круг от казнённого Вия
Упрячут мой дух — в средоточье огня.
И плюну я в тяжкие веки слепые.
Здесь роза ветров. Чур меня! Чур меня!

1979

* * * *

В душе молчание и тишина, и тайна.
И снег на воздухе, и в небе новизна.
И снегоносный облак не случайно
Покрыв мне голову и душу опознал.

Откроюсь Господу как под епитрахилью,
И в небо снежное всю душу изолью:
Прости мне жизнь мою, и в ней сполна Россию,
Что долей русского терзаюсь и пою.

Ты дал мне грустную судьбу, и жизнь, и душу,
И нет во мне иного — только Твой
Страданья дар, дарованный к тому же
Как радование: плачь, рыдай и пой!

Во исповеданье и в покаянье
Ты подарил мне родину мою.
Очисти душу мне, изьми из обаянья
Греховного! Что принял — отдаю.

Я жадно жил, и суетно, и грязно.
И мне открылась в небе чистота.
Прости мне русский, каверзный и праздный
Простор. Мне снится родина не та.

Я возжелал ее. Небесная Россия.
Как мне узнать дорогу в ту страну!
Еще живое совершу усилие
И к тверди всей душой навек прильну.

И снежистою мглою осиянной
Смеркается в душе виденья день.

И облегчается со мглою неслиянный
Свет внутренний таинственных идей.

И тихо, тихо так. И упование
От Господа является, и мир.
И мне доступно таянье и тайна,
Как будто взят я воздухом в эфир.

1981

ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ ГОД

Уже построены Чернобыли
И приготовлено питьё.
И нам понадобится много ли
На наше русское житьё.

Уже и чин тысячелетия
В душе у каждого отпет.
Христианин — за всех в ответе я.
Не знаю лишь, на сколько лет.

Христианин — за всех потайно
Живое слово берегу.
Нам суждена дорога дальняя
И свет на дальнем берегу.

Нам суждена дорога крестная.
И крест горит у нас в груди.
И наша воля — воля местная.
Царю и Господу, гряди!

И наша воля, воля славная, —
Принять неистребимый Крест.
И я напоминаю главное:
Не выдаст Бог, свинья не съест.

Нам остаётся лишь потайное,
Но покаяние в блюде.
Прелюбодейство наше давнее
Вопит ко Господу в стыде.

Уже и хартии подписаны
Под нашей давнею татьбой,

И новый век грозитя числами
Очнись, Россия, Бог с тобой!

Тысячелетие повторное
Моли у Бога ради нас.
Оставь ругательство отборное
И ложь потёмкинских прикрас.

Оставь тщету и слово тщетное,
Гнилое слово истреби.
У нас судьба новозаветная.
Живое слово береги.

И наша сила православная
Умножится во много раз.
Крест на груди — вот сила главная
И украшение без прикрас.

И в этот год тысячелетия
Подумай каждый о себе:
Какого ты в душе наследия?
Какой сподобился судьбе?

И, если к Богу обращённое
Светлеется лицо твоё,
Знай: ты на небе причащённая
Душа, и всё в тебе поёт.

Тогда не страшны и Чернобыли,
И наше русское житьё.
Бессмертие народа во поле,
Где кости верят в бытиё.

Бессмертие народа верою
Стоит. И близок Судный день,
Когда Россия к Богу первою
Взойдёт к Ерусалима стен

Крепчайшей клади адамантовой.
Тогда и слёз не будет нам.
До тех же пор из пасти адовой
Да рвётся, светлая, она.

Святая Русь ещё не старится
И на коленях слёзы льёт.
И нашим Богом да прославится
Тысячелетний наш народ.

И нашим Богом да умножится
И наша святость посреди
Грехов, каких такое множество,
Что только гибель впереди!

Но покаяние таинственно
Ещё нас может исцелить.
Вот мой завет — завет единственный.
Всё остальное — сердца истина,
Путеводительная нить.

1988

ТЫСЯЧА ЛЕТ

Райская птичка поёт и поёт.
Время цветёт и цветёт.
Птичка сознанию уснуть не даёт.
Ангел как душу ведёт.

Майская поросль тянется ввысь
К небу и к солнцу его.
В сердце рождается райская мысль —
Небо Отца моего.

В мир посылает нас тайно Отец
Братьями Сыну Христу,
Чтобы увидели мы наконец,
Как наши души растут.

Будут подобны большим деревьям,
В вечное небо уйдя, —
Малою леторослью сперва
Жаждают тепла и дождя.

Тысячелетняя птичка поёт.
Тысяча лет словно день.
И темнота ввечеру настаёт.
Смолкла и птичка — динь-день.

Так нас крестили на тысячу лет.
Вечер уже впереди.
Боже, избави нас тайно от бед —
В рай Твой наземный гряди.

Видим ли, что сотворили мы в нём?
Райская птичка поёт.

Много ли нас? Только Днепр, водоём.
Воды отравлены пьём.

В Лавру пустую, как инок, вхожу.
Тысяча лет предо мной.
Хоть на песчаник сырой погляжу.
Всё тут давно — мир иной.
Все мы иные — как иноки мы.
Каждому тысяча лет.
Бог даровал нас друг другу взаймы
И освятил нас, как свет.

Вот и святили мы столько во тьме,
Что поредела она.
Книгу прочту на старинном письме.
Вижу: и ныне юна.

Деревом, деревом к небу взойду —
Райскую птичку маню.
Нет, не в России я — в райском саду
Долу вершину клоню.

Этот поклон мой до Бога дойдёт,
В нём же и вера моя.
А идиот там внизу подождёт.
С Богом беседую я.

Да и поныне Русь наша свята.
То не утопия, нет.
Мученикам отопру ворота.
Я ведь такой же — поэт.

Мне-то известно, что тысяча лет —
День перед Богом моим.
А на поверхности праздника нет.
Тайно в молитве стоим.

Рай мой сокрытый! Раю мой, раю!
Птичка поёт и поёт.
С нею и я только тайно пою.
Ангел заснуть не даёт.

Братие, слушайте, слушайте нас,
Малое стадо Руси!
И оглянитесь на рай без прикрас.
Ранен он. Боже, спаси!

Тысячелетнее древо лежит.
Малая поросль на нём.
Райская птичка в пустыню бежит,
Ведь заражён водоём.

Но перед Богом и поросль свята,
И прокаженная тварь.
Праздник-то, праздник! Стучу в ворота.
В колокол, что ли, ударь!

Благовести! — я ему говорю.
Благовестит и поёт.
Я же от слёз на сторонке горю.
Бьёт он, и стонет, и бьёт.

1988

*«Куликовский цикл»
из книги «Возвращение Одиссея»*

РУССКОЙ ДРУЖИННОЙ МУЗЕ

Слушай, Муза, глаголы, сдружившие мужество с грустью!
Не гляди на меня исподлобья безбрежную Русью!
Не зови на блаженные древних пиры!
Разыгралась труба современной и гневной поры.

Слышу дальние, бронегудящие гулы.
Перед ними поэты предслышат седые глаголы.
То ли вьюга в пространство и время трубит,
Но Куликово поле рыдает за тех, кто убит.

Пой, дружинная Муза, над речкою нашей Непрядвой!
Не гляди так тревожно! Не надо грустить!
Ты же, русский Пегас, над душою ушами не прядай!
Речь отцов, мы сумеем тебя защитить!

1973

КЛЮЧИ НЕПРЯДВЫ

В. Порешу

*Отцы и братья!
Ради Господа подвижайтесь
за веру христианскую
и святую Церковь:
смерть тогда не в смерть,
а в жизнь вечную.*

Князь Дмитрий Донской

1.

Давно ли в сумерках донских
Тишь разрывали на куски
Снаряды?
На этот счёт молчат года,
Лишь помутятся иногда
Ключи Непрядвы.
Темна таинственная течь,
Точь-в-точь пророческая речь
Пейзажа.
Степная, тёмная струя
Течёт с кончара остря,
Как Парки пряжа.

Кто б ни был здесь, на берегах
Старинных:
Мещера, меря, голядь, финн
Иль грозный вятич-властелин,
Москаль татарину рекох,
И слушал в глинах.

С тех пор струит Непрядвы ключ
Воинственный московский клич,
И веи
Ощерились по сторонам,
И ошетижилась страна
Степей, полесий.

Давно ли здесь гремела сталь
И возносился пьедестал
Тирана?
На этот счёт молчит поток.
Опять прищурился Восток
С экрана.

Но день за днём из родника
Точится грусть. Сочит река
Предвестья, сроки,
И наполняет вещий Дон,
И, к устью устремляя стон,
Уходит в Греки.

2.

Ещё тиха донская ночь,
Ещё тепла,
Но времени сгустилась мощь,
И лунный лик смертельно тощ,
И светляки окрестных рощ
Горят дотла.

Вечор кричали кулики,
Смеркалась даль.
С полночи от степной тоски
Завыли волки у реки,
И войску русскому в виски
Стучится дол.

Не спится. Сила в тростниках
Стоит окрест.
И всё, что сбудется в веках,
Слегка пульсирует в руках,
Покамест чист речной рукав
Сих птичьих мест.

Ведун Боброк припал к земле
И замер весь.
Что слышит он? —
Подземный стон.
И зов девицы там, во мгле
Начнётся здесь.

Два раза припадал Боброк
И слушал Русь.
В её груди стучался Рок,
Но иссякал тяжёлый ток
И азиатской кровью впрок
Питалась грусть.

И в первый раз он слышал мать,
Её грудной и скорбный, скорбный и родной,
Глубокий голос недряной,
Как будто шёл он стороной...
Куда? — Как знать!

И мурзамецкой речи рык
Бурлил, точь-в-точь гнилой арык.
Он клокотал
Густою пеной всех кровей,
Но осекался в мураве
И дёрн питал.

И во второй звучало раз,
Как будто причитал и гас
На глубине

Девичий, плачущий в тоске,
Как бы Непрядва на песке,
Дочерний голос, храп коней
И трубный глас.

И князю Дмитрию Боброк
Поведал слух земной и рек:
«Послушай, князь!
Се волки. Чуешь? Волчий вой
Нам предвещает не впервой
Руду дружины боевой.
Но Бог за нас».

И Дмитрий молвил, погрустнев:
«Такою ночью Божий гнев
Исполнит срок.
С Востоком встретится Восток.
Завтра бой. Да будет так!
Поспи, Боброк!»

3.

Мамай, Ягайло и Олег
Стоят меж рек.
Непрядва, Дон, Солова, Мечь,
Уперта, Права и Упа...
Поля вчера из-под серпа
Кровище встреч.

Олег, Олег, твоя Рязань
Глядит, больна, как бирюза,
В пыли дорог.
Стыдом опятнаны глаза.
В церквях темнеют образа.
Рудеет влог.
Чашарник зелен и багрян.

Сентябрь мглян.
Проснулась кованая рать.
Стяг багрянится. Пробил час.
В лучах Нерукотворный Спас.
Трубе играть.

Труба серебряная. Слышь!..
Свежеет утренняя тишь.
Великий день.
Над полем вековая мгла.
Тропа Истории легла
В дубравы сень.

Владимир-князь в дубраве той
Рассвет встречает золотой.
При нём Боброк.
Олег, Олег, Солотча спит,
А на Дону среди раки
Песок багров.
День Богородицы кровав.
Непрядвы ров
Уж приготовлен. Вороньё
Среди орлов.
И под стремительным конём
Отрава трав.

И с печенегом Пересвет
Сшибутся. И орда в ответ,
Багря поля,
Пройдёт оружием слепым
До исторической тропы.
Терпи, земля!

Тогда, второй бронёй звеня
Богоизволенного дня,
Владимир-князь
Воздвигнет Бога знамена,

И повернутся времена
Ордою в грязь.

И стяги на ветру ревут.
Гремит река.
Земные раны заживут.
Но то, что совершилось тут,
Бессмертной правдой назовут
Народы и века.

1975–1977

БИТВА ЗА СЛОВО

В. Порешу

Всещедро Духа дохновенье,
Всеблагодатен огонь Творца
И всепобедна дерзновенья
Мощь, испытавшая сердца.

Куда бы нас ни заносило
В стихийном ропоте ума,
Всеутверждающая сила
Всеутвердит себя сама.

Ей нужды нет себя неволить
И нашу спесь превозмогать.
Но, как не тщимся прекословить,
Пред нею не возможем лгать.

Она в телесном средокрестье
Душевной мукой сгущена
И самый дух наш болью крестит,
Огнём любви излучена.

И этой силы, этой мощи
Нам не удастся превозмочь.
Но подчиниться ей не проще —
Сметающей преграды прочь.

Нужна немалая отвага,
Нужна премногая любовь,
Чтоб утвердить себя во благо
И к правде возродиться вновь.

И, если сердце в час молитвы
Её огнём не сожжено,

Кто препояшется для битвы,
И победить кому дано?

Мы будем слышать копий хрусты
И грохот сломанных щитов,
И не поможет крик безустый
Тому, кто к Богу не готов.

Но тот, кто пламя дерзновенья
Встречь Духа Божьего возжёт,
Мечом суровым вдохновенья
Проложит путь всеоткровенью.
К тому навстречу выйдет Бог.

1976

БОДРАЯ ОСЕНЬ

А. Огородникову

Бодрая осень. Куликовых глин
Ультрамарины и охры легли.
Ярко пылают осины кармин.
Уголья пашен сверкнули вдали.

Вся пережжённая умбра долин
Чуть серебрится в осенней пыли.
Стяги полощут, и рек хрустали
Переливаются в жилах земли.

Чу! Разыгрались трубы в крови.
Войско Донского. Вострубленный сбор.
Или то в кронах ликующий бор,
Горние громы, шорох травы?

Сосен ли, копий качается лес,
Или дубравы гремящих небес
В тучную землю живой урожай
Мерно ссыпают, в наверхьях дрожа?

День Богородицы. Русский простор.
Днесь листвяная кровавая весть
Мощь возвестила, соборную месть,
Бодрую осень, крепкий мажор.

Хор изумрудов сентябрьских дубрав.
Жар золотокованных княжеских лат.
Смертию бранную гибель поправ,
Тихо ржавеет в оврагах булат.

Выйду в открытое поле навстречь
Бодрой стихии, сверкающий меч
Жёлтой истоме в смертельную грудь
Здесь, на Куликовом поле воткнуть.

1977

ПОЛЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Е. Вагину

Опять над полем Куликовым...

А. Б.

Опять неистовая сила
Сгустила смертоносный мрак,
И кровь собора возвестила:
«На христиан воздвигнут враг».

Опять пророчественный Церкви
Ударил колокол в сердца:
«Отбросьте страх и рабства цепи,
И стойте в правде до конца!»

И вся Небесная Россия —
Собор Христолюбивых сил —
Молитвы жаркие усилья
Крепит, чтоб Дух нас воскресил.

И конь Микулы ржёт в упряге
И просит бранного седла,
И плещут на Путивле стяги,
И Лавра Троицы светла.

И в Киеве глядят святые
На землю русскую с высот,
И брони воинов литые
Вновь на Дону секут осот.

И в Дон стекаются отсюда
Быстрины кованой руды,

И, уподобленное блюду,
Блестает поле — ждёт беды.

Завтра пиршественной кровью
Росистый дол окровавлен,
И Лик рассеченною бровью
Глядит из гробовых пелен.

Христос, мы жаждем Воскресенья
И пали с верою, и ждём.
Да воскресит вино спасенья
И тех, кто к полю пригвождён!

1978

ПАМЯТЬ

*В память вечную будет праведник.
От слуха зла не убоится.*

И мы оставим память о себе
На этой вот земле, земле России,
Но вечную ли память, — вот вопрос —
Вопрос для нас и для самой России.
Ведь жили мы не о едином дне,
Но будто бы и время нас не знало,
И потому ушли туда, где нет
Ни времени и места, ни того,
Что звали мы своим в родной России.

Но и в такой беде запомнят нас.
Мы жили для того, чтоб наше дело
Не нашим, но вселенским нарекли,
И в этом — наше самоотречение,
Неколебимый православный Крест,
Неколебимая России вера.
И, если что останется от нас
На кровной и прославленной земле, —
Великий день Димитровой субботы.
Да, воины мы были. Наша брань
Останется другим. И слава Богу!
Без бранного святого ремесла
Нет церкви, нет семьи и нет России.
Воинствуя и жили мы. И смерть
Была для нас таинственной победой.
И в радости, и в муке, и в слезах
Мы оставались верными, никто же
Да не изобличит и наше горе.

И наша память в землю перейдёт
И станет нашей Родиной священной,
Откуда нас, работников Своих,
В пасхальный день восставит Бог России,
И вечною тогда и наша память
Да явится из тайны наших дел,
А ложная молва да сокрушится,
Как призрачная сила клеветы,
Пред явленной мощью нашей правды.

1982

КОНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Прекрасен конь Георгия. Как дух,
Повис в метафизическом пространстве,
В простом и ослепительном убранстве,
Иконописный образ не потух.

Конь фыркает и скачет, глаз косит
И радуется всаднику-герою.
И дух его пред нас подобен бою
С драконом, над которым он висит.

И всадник право правит сим конём.
Духовный взлёт, и, копием сверкучим
Пронзённый, призрак змия злобной тучей
Склубляется и, молнийным огнём
Палимый, богохульствует вотще.

Святой Георгий в огненном плаще
Проносится над ним, одетый в бурю,
На вороном грохочущем коне,
На лбу крестообразно брови хмуря,
Из века в век на храмовой стене.

И этот конь, то вороной, то белый,
То красный, полыхающий, как жар, —
Суть горний дух победы. Воин смелый
Вскормил его под пламенем Стожар.

В ночном — земной и бдительной молитвой
Он освящён хозяином своим
И духовборной праведною битвой

Бессмертен стал, от гибели храним.
Сей конь глядит на нас не конским ликом —
Духообразным боя торжеством,
Да победим в борении великом
Ползучее греха лжебожество.

Так всяка тварь, служению Господню
Бысть призвана, пусть подвиг совершит
И освятится сим и посегодня,
И в вечности, где путь свой завершит.

1978

ДЕНЬ ПУШКИНА

Тогда на землю пала мгла
И тишина в туман легла,
И задымилась тень.
Где было с вечера светло,
Вдруг стало сумрачно тепло,
И время скрытное текло,
Ввысь воспаряя день.

И рано, утро глубоку,
Покуда реки волокут
В низовья облака,
Проголубели небеса,
В травищу выпала роса,
Цветная вспыхнула краса,
Блеснули Дон, Ока.

И солнце — негасимый шар
Восплыл, воспламеняя жар
Синеющего дня.
И вся Россия в синеве:
Москва и город на Неве,
И древний Муром в мураве —
Точь-в-точь всплыла со дна.

Возможно ль — Китеж россиян
Во мгле безбожной просиял —
День Пушкина? Ужель
Земле — Неделя всех святых,
И Солнце Правды с высоты
Дарует светом золотым
Отчизну мятежей?

И, как пророчествовал он,
Сердца наполнил шум и звон,

И Ангелов полёт
Стал внятн в неба глубине,
В седой его голубизне,
И вещей колокол на дне
Сегодня нам поёт.

И всех святых святой собор
Днесь освящает с давних пор
Земной его венец,
И заблужденья мудреца
У Милосердного Отца
Ему простятся до конца.
Он был Его певец.

И ныне чашею сполна
Мы поминаем имена
И тех, кто вместе с ним.
Да будет свят великий день!
В его лучах сокрылась тень,
И лавра не увянет сень,
Пока свободою горим
И речь её храним.

1977



время разбитых надежд

Время разбитых надежд

(1990-е – 2000-е)

* * * *

Нищая жизнь наступила в стране.
Хоть бы звезда в вышине.
Дождик январский да ветер с югов,
Тучи во веки веков.
Хоть бы звезда отразилась в реке.
Дым. Папироса в руке.
И непроглядная темень в окне.
Кухня в электроогне.
Нищая жизнь. А на сердце светло.
Тускло сияет стекло.
В нём отражённая лампа горит —
Лужи, оснеженный вид.
Снег поедается скудным теплом,
Но не грущу о былом.
Что-то весеннее в воздухе есть.
Классика, что ли, прочесть.
Трудно и раньше в России жилось.
Так уж давно повелось.
Впроголодь жили поэты не раз.
Время настало для нас.
Ветер тепла добавляет с югов,
Тучи во веки веков.
Скудная жизнь. Но на сердце тепло.
Ветер дождливый, степной.

1992

НА РОЖДЕСТВО

И доллар стал жандарм рубля.
И вертится Земля.
И погребён СССР.
Но музыкаю сфер
Баюкает в лучах звезда
И ходят поезда.
И в магазинах покати
Шаром, но закатил
Господь, как прежде, Рождество.
И свято естество.
И вдохновение опять
Мне не даёт поспать.
И чаю нет, но есть табак.
Всё не отстать никак.
И жаль людей, но не себя,
Платочек беребя,
Сморкаюсь я, но гриппа нет.
И в сердце жизнь и свет.
И над стишком себе корплю.
Считаю по рублю.
Так жизнь опять берёт своё,
Как посмеёшь её!..
Так выдыхаю дым в окно,
И светит мне звездой одно
Небесное рядом.

1992

РОССИЯ

Постится Россия — крестьянские наши дворы.
Народ обессилел, да жаль детворы.
Что светит кормильцу? — Земельный надел.
А чем обработать? — Народ так хотел.
Да — всё впереди: нищета, безлошадность и пот.
Но ты не оставь нашу землю, Господь!
Чтоб храмы народу, как прежде, вернуть,
Чтоб светлый открылся земле нашей путь,
Чтоб мы попостились, но хлеба хоть вдоволь нам дай,
И наши сердца, нашу землю не покидай.
Мы всё пересилим. На то мы и родились.
Чтоб сено косили, чтоб славно хлеба поднялись.
Земля чтоб — народу, народ же — земле.
Чтоб дети сказали спасибо родимой семье,
Чтоб подняли их и поставили на ноги. Бог
Чтоб нас не оставил, избавил голодных тревог.
Чтоб свет на Руси возродился и в душах у нас.
Чтоб землю мою обошёл воскресающий Спас.
И благословенье на нас ниспошли,
Чтоб небо и землю, и родину в сердце наши.

1992

ВОСКРЕСЕНИЕ

Тишина у подножия мира.
Все уснули. Но сердце не спит.
Что-то деется в бездне эфира
И искрит петербургский гранит.
Величаво Нева подымает
Под мостами белёсые льды.
И душа как во сне, понимает,
Что творится у самой воды.
Там сложится февральское время —
Петербургская спящая ночь.
И моё среднерусское семя —
Спят одна и другая дочь.
И обеих люблю я. Малютки
Петербургские. Бог их храни.
И меж ними не сплю в промежутке,
Разослав их в квартиры родни.
Мне не спится. Россия большая
За моим освещённым окном.
И берёза качает сквозная
Свои ветки, грустя о родном.
Нелегка ныне участь России.
Но, как с неба, божественный свет
Озаряет потёмки иные
И душе посылает привет.
И гляжу: за окном — мирозданье.
Ясно звёзды в пространстве горят.
И душа моя храму, простая,
Посылает легчающий взгляд.
Помоги нам, о Боже великий:
Даруй хлеба довольно и сил,
Чтоб детей мы ко храму Владыки
Привели, как и Ты нас просил.
Чтоб Россия вполне возродилась,

Снова крепкою стала, как дух,
Чтоб вернулись надежда и милость,
И прошёл о нас праведный слух.
Чтобы мир нам помог наши храмы
Возродить и родные поля,
Чтобы в душах как не было сраму
И воскресла от крови земля.
Чтобы спорились труд и торговля
На большие живые рубли,
Чтобы каждому — место и кровля,
И в портах всех земель — корабли.
Чтоб грядущее детям открылось
Не такое, как выпало нам,
Чтоб Царица как с неба явилась
И Покров Свой незримый развила
Над землёю, где свят Её храм.
Так молюсь под звездою высокой
И стихи для России пишу,
Озарённый надеждой глубокой
И молитвенно в небо гляжу.
И, как пар, взлетает куренье
Прямо в фортку — на небо, где Бог.
И завтра воскресное пенье
В храме слышно без лишних тревог.
Там горят светоносные свечи
И иконы мерцают со стен.
Это образ Руси человеческий,
Преклоняющей много колен.
Это светлая наша надежда
И глубокая вера в Христа.
Это святость души и одежды,
Что в заплатах, но строго чиста.
И пойду поклонюсь я со всеми
Перед образом Бога святым,
И с народом паду на колени
Перед ликом Его красоты.
Обновляется сердца утроба

И Россия, как верится мне,
Восстаёт из кровавого гроба
В светозарной молитв тишине.
И по храмам идёт покаянье.
Причащается верный народ.
То пред Богом Христом предстоянье —
Православная служба идёт.
И подам за умерших записку,
Чтобы с нами, надежды полны,
Не искали у Господа иска
О позоре кромешной страны.
Чтобы нам из земли помогали,
Чтобы с неба молились за нас,
Чтобы верили в нас, чтобы знали —
Над Россией всеведущий Спас.
Он поможет нам в нашу годину
Перед ликом тревожной земли
Путь найти на потребу едину
И служить своему Господину,
Как печальники наши могли.

1992

ФЕВРАЛЬ

Вот и февраль. Судьбы России
Проговорили. Нищая чернь.
Поговорили: о нашем «Мессии»,
О вертухае русских очей.
И прозевали волю народа —
Установили красный террор.
Блок-то в «Петрухе» глянул как в воду.
Заупокойный клироса хор.
В доме Ипатьева так порешили
Брызнуть кровищей Царской Семьи.
Но пережили — сроки пришили
Русской жестокости, братья мои.
Что же такое дух тот народный?
Эх, прозевали за коньяком.
Рабский, холопий, полуприродный,
Женскою похотью к аду влеком.
Надо ж — зарезать полправославья
И втихомолку свалить на жидов.
А позабыли — пели ж «Коль славен...»
Ох, до чего же быт наш бредов!..
Но и попались. Бог-то распятый
В Гефсимании был погребён.
И оказались колонной пятой
В нищей России наших времён.
Но и такою, моя Россия,
Ты мне прискорбна паче других.
Не о поэтах — сам я разиня.
О феврале я — о мухах пурги.
Флаг наш трёхцветный —
То ли голландский,
То ли торговый...Эх, без креста!
Синий платочек такой заветный.
Строчит пулемётчик прямо в Христа.

Эх, в жемчугах Он и в белых ризах —
С флагом кровавым — вам говорят.
То ли Астарта, то ли мимоза...
То — атрибуты наших наяд.
Женственный образ. Так порешили
И написали — просто матрос.
Но ведь и это мы пережили,
И оказалось — распят Христос.
Эх, говорили ж! — Лучше не надо.
Да не валить же всё на жидов.
Вот и воскресни нынче из ада —
Из разорённого Ленинграда.
Санкт-Петербург нам снова готов.

1992

УХОДЯЩИЙ НАРОД

Народ, сожравший сам себя,
Ниспадный в ужасе до ада
И душу клеветой губя,
Ты заслужил себе награду.
Ты — поношение в род и род
От прозревающих потомков.
Познай: какой же ты народ
Меж генетических обломков.
Христопродавец меж иуд,
Отрёкшийся от православья,
Твои деяния умрут.
Ты, пивший Сталина за здоровье.
Кто помянёт за упокой
Тебя, предавшего Россию?
И кто вернёт тебе покой
За вертухая как мессию?
Твои ЧК, НКВД
Тебя пред Богом не восставят,
В твоей крови точь-в-точь в воде
Лишь христиане Бога славят.
Остаток — аду вопреки —
Сотрёт ещё твоё потомство.
Своё последнее прикинь,
Оставь пред смертью вероломство.
Покайся ты в христиан крови,
Отрёкшийся от первородства.
И вновь Христа благослови,
Сотри с лица черты уродства.
Отмечен ты таким клеймом,
Что, ужасаясь, всякий видит
Твои отбросы как дерьмо.
И целый мир вас ненавидит.
И поделом, и поделом.

Смотри: твоё расселось чрево.
Куда идёшь ты напролом?
Тебя казнит Святая Дева.
Она стояла у Креста,
И душу ей прожгло оружие.
Смотри, — она свята, чиста
И ей противны ваши ружья.
Ты расстрелял себя ведь сам.
И это — суд тебе, проклятье.
Не веришь ты ни чудесам,
Ни в то, что все мы там заплатим.

Так и сгорай в своём студе —
Ты даже имени отвергся.
Ищи, твоя могила где,
В своём спасении изверься.
Отчаянье — тебе клеймо
За вашу хамскую жестокость.
Стахановец, твоё письмо —
Потомку, что влетает в пропасть.
Пойди взгляни на Колыму,
Где все следы ты заметаешь.
И что построил ты? — Тюрьму,
В которой сам себя ты давишь.
Опомнись, суетный циклоп,
И вспомни кару Одиссея.
Ложись в свой непомерный гроб,
Какой тебе открыт — Рассея.
Лежи до судной в нём трубы.
Ты заслужил могилу эту —
Тобой разверстые гробы.
Конец и твоему секрету.
Весь мир здесь трупы опознал
Замученных тобой страдальцев.
Их смерть пред Господом честна.
Твои же все в кровище пальцы.
Вот что соделал ты с собой.

И это — на тебе — проклятье.
Россию сделал ты рабой:
Ты гнал её лишь на распятье.
И отреклась же от тебя
Богородица Россия
За то, что, клеветой губя,
Её распял ты, лжемессия.
Смотри, до ада ты ниспал,
И суд тебе уже свершился.
И не спасёт тебя напалм,
Зане на кровь свою решился.
Самоубийца ты, народ:
Сам осудил себя на гибель.
Тебе проклятье в род и род,
И твой потомок, поворот
Свершив, не скажет: «Победитель».

1992

КОНЕЦ ВЕКА

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.*

Ф. Т.

И плоть, и дух растлились в наши дни.
Но мало кто и это примечает.
Одни бегут назад, а там одни
Истлевшие, и дух с собой сличает

Предшественников. Там, в гробах, они.
И грустная поэзия венчает
Поэтов, грехопавших искони,
И дух себе подобных различает.

И человек в отчаянье. Ни плоть,
Ни дух на тот запрос не отвечают,
Каким снабдил нас видящий Господь.
И сапоги пирожники тачают.

Замечено давно. Но почему
Душа болит и сердце болезнует?
Кто говорит: не верю ни чему.
Кто смотрит в небо — Бога одесную.

Но всякий в нас отчаялся. Доколь
Не переплавит в ясперс наша боль
Булыжник сердца, что окаменело?
Я прожил жизнь, светлея лишь Тобой,
Христе, но почему же онемело

Гляжу на образ, схваченный грехом,
И жизнь рубцую плотскую стихами.
Но вот — умру. Кому какое дело?

И, видя жизнь в отчаянной тоске,
Рассудок мой висит на волоске.
И солнце Пасхи в тучи зябко село.

И человек, не умерший во мне,
Довольствуется нищенством вполне,
Растленным видя дух, а с ним — и тело.

Одно страданье нас переживёт.
Кто знает, что такое был живот?
Гляжу на жизнь в растленье обабдело

И говорю: и плоть, и самый дух
В нас растлены. Но светоч не потух.
Пока петух кричит осоловело,

Я обращаюсь к Самому Христу:
Почто не прекратишь мою тщету?
Когда-то сердце воскресать умело,

А ныне печень смертно говорит:
Вот у тебя вся внутренность болит,
А на иконе Он с хоругвью белой.

Быть может, нас когда-то воскресит
Христос, но век отчаяньем грозит
И дух питает тело смоквой спелой —

Страданием. И что мне — что за мной,
Когда дороги не ищу иной,
Как только в гроб душою оробелой!

Но есть страданье. Есть и красота
Страдания, когда в руке Христа
И плоть, и дух — лицо бледнее мела.

Есть упование. Бог переживёт
Истление моё. Душа поёт,
Как от рожденья и доныне пела.

И плоть, и дух растлились в наши дни.
Но в них белеет точкой упование
И с миром, обманувшим, расставанье.

Когда-нибудь предстану пред Царя
И это будет вечности заря,
И объяснит Он, что такое пело
В тебе, душа, в тебе, болезненное тело.

Быть может, это Кровь Его и то,
Что умерло, не взятое тщетой
И в третий день блистанием воскресло?
Но почему играют жизнью чресла?

И почему стремление зачать
Ломают плоти женщины печать
И вдаль несёт, как льдину половодье?
Ответа нет. Молчание в природе.

Но вот разрушит печень этот сон,
Обставит душу с четырёх сторон,
И ты умрёшь. Бог говорит: — воскреснешь.
Тому и быть. То — Пасха будет с песней.

Вот почему поёт во мне душа,
Как бы орлом над перстию кружа,
И в ясперс переплавало страданье
Не только дух и тело — мирозданье.

Обожен мир, а с ним и человек.
Что может сделать наш растленный век?
И в самой смерти вечность духу светит.
Христос и тело наше обессмертит.

Так говорит нетленная во мне
Душа, в ней — вера. Где-то в вышине
Уж приготовлен огнезарный Ангел,
И Каин плачет: «Авель, Авель, Авель...»

Зачем я сделал жизнь мою растленной?
Зачем не мирро — слёзы горьки лил
На борозды лица, когда исленье,
Казалось мне, — путь к вечности, мгновенье?

И се я умираю с каждым днём.
А век твердит, мол, снова живём,
И чашу мне исленья предлагает.
Но верит дух и сердце уповает.

И Пасха лучезарная во мне
С отчаяньем и смертью наравне
Поёт о чём-то чудном, бесконечном —
Сама душа в наряде подвенечном.

И пусть растлен и я, и весь мой век,
Жив Бог, жив будет вечный человек.
Он Богу и в посмертье предназначен,
Хотя и нагл, хоть тленен и невзрачен.

Но что-то есть в страданиях Его
Предельное. Я Бога Самого
Беру в пример. Он падал, ношей крестной
Придавленный, но умер и воскреснул.

И скорбь сама мне что-то говорит
Небесное, хотя бы и навзрыд.
Пройдёт земля — настанет в душах небо,
Не обращай стенания Эреба

При жизни в стон. Молись и уповай.
Господь подаст насущный каравай
И одеяньем праздничным оденет,
Больную душу с телом исцелит
И одесную встать благословит
Обоженым созданием, а не тенью.

Сей век пройдёт, как пар из тщетных уст,
И мир греха тогда пребудет пуст,
Как бы орех гнилой. Он был и высох.
Страдание ж Христа покрывает риза.

Вот смысл страданий временных. Лукав
Обманный днесь и времени рукав.
Христос же вечным духу остаётся.
Вот потому и Пасха нам поётся.

Отринь земной и тусклый дальнотер.
Что может дохлый времени позор?
И возложи на Бога упование.
И крепко будет слова основание.

Скажи Ему: истления взыщи
И, как Давид Гольфа из пращи,
Соблазн мой порази. Падёт великий.
И Ангелов о грешном будут клики.

Возрадуются Ангелы тогда,
Как отойдут страны и города,
И Воскресенье вечное настанет.
Но кто смиренно перед Богом встанет?

Лишь тот, кто отстрадал, вверяясь весь
В тот Промысел, какой о каждом есть.
И я в скорбях надеюсь к Богу ближе.
В зрак нищеты и тления унижен.

И что-то говорит завтра мне:
Ты Богу станешь радостней вдвойне,
Чем более страданью приобщённый
Истлеешь, как зерно, и в рост зелёный

Пойдёшь, как только солнце, отблестав,
Воздвигнет к Богу земный твой состав,

И принесёшь плоды — живые зёрна.
А жить, не умирая, нам зазорно.

И я, смирён, склоняюсь весь к земле.
Как колос, отягщён, своей семье
Прощанье и прощенье тайно шепчет,
Христос так оглянулся на меня.
И вот вдали и дом мой, и семья.
А в бороздах лица лишь покаянья
Живые слёзы — таянье и тайна.

И близится Восток, его рассвет.
Вот почему я не теряю свет
И путь держу по звёздам прямо к солнцу.
Так жизнь я завещаю богомольцу

Иному, может быть, не жизнь, но боль.
А, впрочем, свет и мне доступен столь,
Что я дивлюсь, как луч во мне светлеет.
И это — правда — грешная, святая.

Но Бог всё бороздит моё лицо
И радостью потайной отвечает.
Иду к земле, и замкнуто кольцо.
Но чувствую себя ещё бойцом.
И тусклый зрак вдруг солнце различает.

1996

* * * *

Увы, мутировал народ
И к Богу приходить не хочет.
Таков и человеческий род.
Двадцатый век чернее ночи.

Нет и цивилижности у нас.
Что до культуры — одичанье.
Бог отвернулся. Бог не спас.
И жизнь нам стала как мученье.

И ты, тоскующий мой дух,
Не веришь в общее спасенье.
Разрушена и тайна двух.
Рождать — какое невезенье!..

И будущего будто нет.
Но есть небесная отчизна.
Пора Творцу вернуть билет
Во имя бесконечной жизни.

2000

* * * *

Двадцатый век уже прошёл, а двадцать первый,
Хоть наступил, ещё не стал ничем.
И прошлое нам действует на нервы,
А будущее — тьма, кому повем?..

Уходят люди. Новых поколений
Уж приготовлена живая череда.
И нас, униженных, туда ступени
Низводят, и идём мы все куда?

Ещё столетье не дало событий,
Какие нам покажут новый век.
И длятся дни голодных чаепитий,
И с грустью вдаль глядится человек.

Нам молодёжь на пятки наступает.
Они не знают, что там впереди.
И всюду биология слепая,
И мрачное предчувствие в груди.

Хотя бы луч мерцающий надежды!..
Но нет нам ничего. И нам сметёт
Грядущее, что задано нам прежде.
И для чего нам новый век цветёт?

Вот лето на дворе, а все уж праху
Нас предварили чёрной чередой,
И юные пустые вертопрахи
Не вразумились нашею бедой.

Хотя бы мир и новая культура
Нас обнадёжить радостью могли,

Но что ни человек — дурак иль дура,
А умные уж в землю полегли.

Ещё немногих проводить осталось
И двадцать первый век покажет пасть.
А как хотелось жить, но миновалось,
И остаётся зернью в землю пасть.

Но вот Писанье говорит, что много
Плода приносит павшее зерно.
А впереди — грядущего дорога
И нас затопчут. Впрочем, всё равно.

Быть может, наше слово отзовется
Сочувствием, как древле благодать.
Так пой, поэт, пока ещё поётся!
Пусть будущее над тобой смеётся,
Ты в вечность жизнь обязан передать.

2001

На улице долдонят «синячки»,
Ведь Новый год у них. Они в запое,
А я не пью народу вопреки —
Молчу и про себя, как волком, вою.

Брутальный окрик правящих ментов.
И сердце внутрь сжимается от крика.
Нет паспорта, и человек готов.
Его коснётся ментовское иго.

Они теперь повсюду за рулём,
И человек бесправен перед ними.
В стране ментовской жили и живём,
И мечено нам паспортное имя.

Не нравишься — определяют в дурдом,
А там такое навсегда навесят,
Что будет сниться мерзкий их содом!
Ах, ты — поэт... Так будет не до песен.

В холодном просыпаешься поту,
Ведь «Скорая» приснилась спецмашина.
Семнадцать лет таблетки их во рту.
И столько ж на игле — судьба решила.

А помирать придётся где? Уже ль
В дурдоме? Так зачем и жить на свете?
Ведь жизнь предполагает жизни цель.
А на тебя есть «Дело» в кабинете.

И ждёт психиатрический Гулаг
Стране неадекватного поэта.
Вот потому и залетейский мрак
Мне снится. А за что? Читай: за это.

2001

* * * *

Злые, как черти, люди.
Вот Ленинград мой. Будет.
Лучше уехать к чёрту.
Он был хоть Ангел. Тёртый.

Это ли — христиане? —
Черти. Видал их в бане.
Это ли — ленинградцы? —
Блоковские двенадцать.

Это ли — образ Божий?
Спросишь — дадут по роже.
Это ли город века?
Спросишь. Ни человека.

2001

ПАМЯТИ В. Т. ШАЛАМОВА

Вот написал стихи, и в сердце боль.
Вот правду говорить опять в России свинской.
Опять — опять психиатрия пред тобой
И санитар глядится лживым сфинксом.

Опять психиатрический Гулаг:
Запоры и тюремные решётки.
На сердце тяжело — житейский мрак
И страшный их режим колымский, жёсткий.

Вот и Варлам Шаламов умирал
В дурдоме. И придумать же такое!
Всю жизнь — одни решётки, номера,
И в небе — Провидение благое.

Вот написал стихи, и в сердце грусть.
Кто их поймёт? — Кто их поймёт? — Небесная Царица?
Ах, я живу в России? Ну и пусть.
Такая жизнь и в вечности приснится.

И вскочишь в смертном ужасе поту,
И проклянёшь тот день, когда родился.
И чем я донял вашу сволоту,
Что зваться русским на миру стыдился?

Отчаянье. От чаянья отчаль.
Оставь надежду всяк их заводящий —
Напишут на часах, что жизнь — печаль,
Когда ты лишь поэт, на Русь глядящий.

2001

АПОКАЛИПСИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ночь окутала тайной простор,
Жёлтым смогом спустилась на город.
Прошумел одичалый мотор,
По железке отправился «скорый».

СПб — Петербург — СПб.
Золотая осклизлая осень.
В облаках Гавриил на трубе
Тайно стражу сыграл, и выносит

Над столицей живое крыло.
Город спать в облаках притулился.
Дождь прошёл. Тишина. И зело
Мегаполис от смога дымился.

Пробежала машина «Рено»,
И за ней грузовик. Сталь и грохот.
В дискотеке ночной пью вино
И танцуют ферты, как под током.

Ночь. Ночной магазин. Водка, Wine
И сортов «Стеньки Разина» пива.
Молодёжь пьёт дешёвый портвейн —
И за угол, где мочится криво.

В облаках Гавриил проиграл
Третью стражу. И Ангел Господень
К церкви тайно слетел и хорал
На злачёном гобое сыграл.
Души вышли из всех преисподен.

Апокалипсис. Ангел печать
Снял и тайно читает пророка.

И за Питер ему отвечать.
Муж в соитии с женою глубокой.

Жёлтый смог над столицей ночной.
И подсветки горят на соборах.
Город тайной своей мелочной
В суете суетится, и скоро

Ангел вылет из чаши беду
И под шинами все эстакады
Загремят. С рельс трамваи сойдут.
И в эфире ночной серенады —

Звуки Моцарта вдаль поплывут.
И приёмник поймает попевку.
Мародёры пожары зажгут.
И в парадной насилуют девку.

Ангел грустен. О Боге никто
В день воскресный не думает. Питер
Расстегнул с похмелюги пальто.
И безмолвствует Ангел-Хранитель.

Грустен Ангел. Жалеет детей
И надежду на Бога внушает
Малым детям в наш век скоростей.
Сны младенцы в кроватках вкушают.

Город пуст. В облаках Гавриил
Протрубил уже новую стражу.
Ангел Мщенья столицу споил,
И амбре запах в воздухе страшен.

Но о Боге не думал никто.
И тоска забрала Гавриила.
Питер — город культурный, и то
Алкольная мерзость сморила.

Город спит. И рыдает пророк
О его согрешеньях Содома.
И в эфире утюжит нас рок
И долбёж heavy metal знакомый.

День воскресный. И в Питере пьют,
Чтоб завтра свалиться на койки.
В небе Ангелы Богу поют
И судить Петербург предстают.
Заблудился на улице кокер.

В небе тайна. Октябрь на дворе.
Золотая осклизлая осень.
Апокалипсис. Ночь в октябре.
Южный ветер отпадом заносит

Все газоны. И мокрая грязь
На ботинки шофёров налипла.
И за городом речка, виясь,
От осенней простуды охрипла.

Тишина. Ночь Господня суда.
В дискотеках кривляются пары.
И пары алкоголя с утра
Жарко дышат на нас перегаром.

Но обедню в церквях отпоют.
Жалко — полупустые приходы.
С неба Ангелы грозно уют
Истребляют стихией природы.

И Сошествие Бога во ад
Ради девства молодых христианок
Разгромит алкогольный их смрад
И сотрёт их похмелья румяны!

В небе Ангелы Богу поют.
День пройдёт, как и все, бесполезный.
В абортариях бьют, как, котят
Нерождённых младенцев болезных.

И сказал тогда Богу я: «Смерть
Им за слёзы младенцев убитых».
Тяжело с похмела умереть.
Там, на Южном, их ранние плиты.

Мрут как мухи. О Боге никто
Не подумает. Ад переполнен.
И бандитское всюду пальто
Нам о времени новом напомним.

Что жалеть их! Они все легли
Штабелями на кладбище Южном.
Их родители не берегли
И спивались они, скажем, дружно.

И кололи они героин.
Но о Боге никто не подумал.
В иномарках их страшных машин
Дорожал бесполезный бензин.
Разбивались они в них угрюмо.

Это — кара Господня на них.
И до возраста не доживали.
Что им благочестивый мой стих!
И скрижали они разбивали.

Но о Боге не думали, нет.
Торопились они в ад, наверно.
И в земле обнажён их скелет.
И в секс-шопах торгуют их скверной.

Апокалипсис. Ночь. СПб.
Что в культурной столице им надо?
Их ментура пасёт, ФСБ.
Никогда им не выйти из ада.

Но сошествием Бога во ад
Разгромил их Господь наш Спаситель,
Им бы снова назад — в Ленинград.
Не пускает их Ангел-Хранитель.

2005

ОДА ПРО ВСЕХ НАС

Ведь и за нас Христос распялся.
Мы выпьем пива и пойдём.
Союз Советский зря распался.
И мы промокли под дождём.
О, сколько грешников за Богом
Пошли. У нас ведь есть Христос!
Какая пройдена дорога
Меж терний и прекрасных роз!

О, вы, художники, поэты,
Правозащитники, певцы!
Вы зло принудили к ответу.
Вы были Бога пришлецы.
И Ангелы на саксофонах,
На трубах вторили певцам.
И разнесли радиоволны
Про нас поэзию слепцам.
Ведь мы любили, мы любили
И за Христом ежедневно шли.
И Ангелы нас не забыли.
Они за нас плевёлы жгли.
Они на трубах и органах
Нам вторили. Помилуй, Бог!
Мы не были ведь при наганах
И лёгких не было дорог.
Мы Деве посвятили лиры.
Гудел над миром саксофон.
Крещенья мечены мы миром.
От сердца шёл по миру звон.
Мы продолжали псалмопевца
Живое дело. Мы рекли.
За Слово Бога Страстотерпца
Нас в спиходромы упекли.

Но мы простили. Бог их судит —
Распявших нищих христиан.
И воздаяние нам будет
По мере наших грустных ран.

Господь распялся ведь за многих.
И благодарны мы Ему.
Он нам сказал: вы, люди, боги.
И крест я в небо подниму.
Там Ангел видит и ликует.
Танцует радостную весть.
Лишь эту
вот судьбу такую
Я выбрал, ибо это — честь.
И нас прочтут ещё потомки
И лиру Божию поймут.
Мы литургически негромко
Пропели миру Страшный суд.
И Ангел верный заслонил
Наш крестный
христианский путь.
Поэтов-страстотерпцев видел
Он, как вели их всех распнуть.
И катакомбы психодромов
Нам аплодируют в ответ.
Иного для поэтов дома
В России не было и нет.
И Апокалипсис российский
Мы до конца уже прочли.
Наш психодром евроазиатский
Мы всему миру предпочли.
Господь распят. И это страшно.
И рухнула империя зла.
Мы пиво пьем как Пасхи брашно.
И помним — тьма на нас ползла.
Но Ангел светлый, Ангел верный
Той тьме дорогу преградил.

И снова открывают храмы
И в храмах радостно поют.
Крестами очертили рамы
И в небе нам здоровья пьют.
Там свет победы торжествует
Святая Русь. Она свята.
К Руси Россия не ревнует,
Ведь со креста она снята.
И наши слёзы, наши игры,
Наш радостный пасхальный смех
Венчают царские порфиры
И побеждён всеместный грех.
Апокалиптическая лира,
Над миром к радости зовёт
И Богородицыно миро
Вратарница икона льёт.
И в храм вошло благоуханье
С небес. Поют: Христос Воскрес!
Мы умащаемся духами
И славим Господа стихами,
Ведь победил голгофский Крест.

2006

* * * *

И вот настал капитализм бандитский,
Забыты и Дзержинский, и Урицкий.
И с пенсии я выпью граммов сто.
Осталось доносить свое пальто.
И нищета живое тело гложет
До следующий пенсии поможет
Дожить богатый друг. Проходит жизнь
Среди очередных халявных тризн.
А кто-то рядом, слышу, стал богат.
Наворовал, видать, у нищих — гад.
И снова пенсия. И снова по сто грамм.
Так обнажается России ветхий срам
И жизнь по-новому у нищеты ворует.
И с Арктики холодный ветер дует.
И денег не хватает ни на что.
Но все еще хранит меня пальто.
И я иду за подаяньем.
Богатые опять обложат данью
Пенсионеров. Прокляты они.
А ты, душа, до смерти честь храни.

2006

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

Век двадцать первый, железный.
Мёртвая правит цифирь.
Слышится голос из бездны —
Рок сотрясает эфир.

Всюду компьютеры, сухость.
Суетный интернет.
Думами правит наука.
Террористический век.

Астрономически цены
Лезут в безудержный верх.
И вздорожавшая пена
Пива едина на всех.
Столько сердец охладело,
Что исчезает любовь.
Официанты халдеи
Ценами подняли бровь.

Переплатили за кофе
И за салат «оливье».
Вот они — цены эпохи.
Были бы мы шевалье...

Чёрт бы с халдеями, с ними.
Но ведь из нищих времён
Все мы явились Россией.
Русь из-под красных знамён.

Век двадцать первый, железный
Всех нас сполна разорил.
Пенсия, старость, болезни,
Новые камни могил.

Век убирает нас в землю.
Слушает рок молодёжь.
Век дорогой не приемлю.
Бьёт возмущения дрожь.

Разве такого мы ждали,
Чтобы за воздух платить?
Век из бездумия стали
Хочет за горло схватить.

Не передужишь нас, нищих.
Нищих в стране большинство.
Нету такого кладбища,
Чтобы зарыть Божество.

Бога возмездье по праву
Нищих сполна поглотит.
Этны клокочуща лава
Под континентом кипит.

Век — социальный Чернобыль
Дышит богатым в лицо.
Дня социальная злоба
Кокнет золотое яйцо.

К Пасхе яичко простое
Куручка нам принесёт.
Солнце живое, святое
От нищеты нас спасёт.

Есть оно в нас — Солнце Правды.
Бодро встречаем мы век —
Детям живую отраду.
Сталь победит человек.

2007

* * * *

Весь город наш слезами орошён
Прошёл нездешний дождь и тротуары мокры
И час цветения черемухи пришёл
И вечером дома желты от охры.
И день Победы увенчал салют.
Весь город преклонил главы седые
И дети песни той войны поют.
Прозрели даже и слепые.
Всем виден день Победы. Город наш
Торжественно его встречает.
И если ты хоть грош на водку дашь,
То и тебя Победа увенчает.

2008

КОММЕНТАРИИ К СТИХАМ

Речь паломникам в Киев (с. 22)

Обличение лицемерия на Руси было делом святых юродивых, нарочито изображавших безумие, чтобы обличить притворство и двурушничество современников. Литерический герой стихотворения — не юродивый в старом смысле, скорее он «всех живущих прижизненный друг»; говоря словами Мандельштама, живущий так же, как «любой двуногий», но не терпящий никаких подмен и пустых слов. Слово для него должно стать делом, тогда как отношение к старине как к музею, превращение усыпальницы святых киевских пещер в зрелище — это не просто кощунство, это некоторое отрицание «дела нашей жизни», убивающее «форму жизни».

«итак, малина разворована бысть...» — Малина — притон, здесь имеется в виду, что злонамеренные наслаждения всегда ложные и обманчивые.

«соблазн оргазма в миг удушья...» — Тема борьбы с удушьем была важна и для Иосифа Бродского. Охапкин её связывает с темой зловонной, иначе говоря, злонамеренной власти, покушающейся на духовную свободу паломников.

«храм даётся не для прокорма закона, скорее, как обрезанье его на веки веков...» — В конце стихотворения устанавливаются отношения между Законом Ветхого Завета и Таинством (Свободой) Нового Завета на основании «типологической аллегорезы», соотносящей события Ветхого Завета как прообразы с истинами Нового Завета как настоящим исполнением этих прообразов: новозаветный храм есть не место ритуала, а место воцерковления, «обрезания сердца» (Рим 20, 29).

Левиафан — образ антицерковной власти, претендующей и на совесть подданных, здесь — советская власть.

«жестокой эре — лицемерье — флаг по жестокой вере...» — немилосердной, фанатичной.

Вести из леса (с. 24)

Декларация Мандельштама, отказ принимать «волчьи» законы лагеря и интриганства, основанные на борьбе за ресурсы, соединяется с темой «волчьей» судьбы как проклятой, а также образностью, восходящей к «проклятым поэтам».

«рифмопродажа, окостенелая вязь...» — Возможно, что тема кровосмешения восходит к «египетской» теме Мандельштама как теме мира звериной тьмы и хаоса, неразличимости, которой противопоставляется ясность христианской культуры. Здесь «нищая мелочь» напоминает о кровосмешении как редакторском компромиссе: кто хотел официально печататься, тот должен был идти на уступки, как бы смешав кровь своего стихотворения с кровью советской поэзии, поэтому: «нет для меня гонорара, и нет интереса».

«воем ночами, и утром под дудочку пляшем...» — Вой на луну — это признание своей немощи, как и в стихотворении Федора Сологуба «Высока луна Господня...». Только если у Сологуба это решено в мелодраматическом, то у Охупкина — в эпическом ключе. Он ведёт счёт мукам, шёпоту и хрипу.

Иосифу Бродскому (с. 25)

Стихотворение — приношение поэту в форме традиционного для классической русской поэзии «дружеского послания». Отсюда стиль письма с понятными именно литератору метафорами: «небесный брат» как брат по вдохновению, опущениями как «шестидесятых (годов двадцатого) века».

«венчанье столь явной высотой...» — возможно, отсылка к стихотворению «Небывалая осень построила купол высокий...» Ахматовой и благословиению Бродского Ахматовой.

Смольный собор напоминает об архитектуре петербургского барокко, то есть о начальном замысле имперской

столицы, и о несбывшемся: Крест вознесён, но и «поставлен крест».

«что случая рука нас возвела над храмом запустенья...» — Храм запустенья — оксюморон, ведь есть только «мерзость запустенья» и «храм оставленный — всё храм». Этот оксюморон передает сущность культуры как культа и одновременно тщетности многих человеческих усилий, так и у Мандельштама в стихотворении «Среди священников левитом молодым...»

«я — брат тебе, прости, тобой названный поэтом — Полидевк...» — Воспоминание о близнечном мифе, Касторе и Полидевке — отсылка к античной мифологии у самого Бродского. Близнечный миф, иначе говоря, представление о соперничестве братьев за первородство, которое лежит в основе гражданского общества (Ромул и Рем в Риме), далее раскрывается как соперничество за женщину, отступающее перед гражданскими задачами поэтов-свидетелей происходящего.

«ты помнишь, за кормой буксира на Неве плоты лежали...» — Буксир — отсылка к «Балладе о маленьком буксире», опубликованной как произведение Бродского для детей. Для Охупкина это большая метафора культуры, символ противодействия хаосу, буксировки смыслов вопреки их «природной» инерции, встраивания природных смыслов, таких как радость или тоска, в систему культуры.

Комиссионка — магазин продажи подержанной одежды и вещей. Здесь он сближается с литературным бытом советских писателей, «писательским поносом», иначе говоря, вторичностью многих произведений официальной литературы. Кто в неё не входит, тот пишет «в стол», без надежды на публикацию.

«когда наш век завоюет, старый волк...» — Век-волк — отсылка к мандельштамовскому «Век-волкодав»

«нетъ предела многоточью провидческих стихов твоих...» — сложная метафора: точки в стихе как паузы, паузы как созерцание звёзд, звёзды как точки. Вероятно, связано с образами письма как созерцания времени в поэзии Бродского.

К Музе (с. 38)

Эпиграф из стихотворения А. Кушнера иронично обыгрывает темы бардовской песни, прославлявшей походы геологов в самые далекие части СССР. По сути — это отповедь Кушнеру и всей «геологической школе», поощрявшей уход в частные увлечения, хобби, потому что «времена не выбирают». Хотя у этой школы есть несомненные поэтические достижения, но она не могла говорить о духовной свободе, не зависящей от обстоятельств. Обращение к Музе как к собеседнику в классической поэзии означало разговор с вечностью, а не в ближайшем круге друзей. В стихотворении воспроизведены многочисленные мотивы бардовской и шестидесятнической поэзии, поэзии дружеского круга или компании, такие как расслабление (перекур) перед стартом, дерзость и некоторый страх перед собственной дерзостью, готовность выдерживать любые тяжёлые климатические условия, отчаянная надежда, часто выраженная грубыми словами. Но появляются и мотивы ГУЛАГа, о которых в 1960-е помнили, но предпочитали не говорить, и одновременно размышление о невозможности «воспеть» гимн. Барды пели свои гимны, вынося как бы за скобки и державность, и травму лагерного быта, заменяя её на фиксацию современных переживаний и проблем. Тогда как стихотворение Охупкина показывает, что если мы честны перед фактами, то не можем ограничиваться такой узостью взгляда, но должны обратиться к более масштабным гражданским переживаниям.

В ночь на Невскую сечу (с. 45)

В стихотворении изложен ход Невской битвы с постоянной отсылкой к «Петербургскому тексту» русской культуры. Напомним, что концепт «петербургский текст» предложил академик В. Н. Топоров, показавший, что в русской культуре образ Петербурга обладает собственным смыслом, не сводящимся ни к замыслу Петра

и официальной истории города, ни к впечатлениям его жителей и приезжих. «Петербургский текст» — это выражение души города в большом числе художественных текстов. При этом В. Н. Топоров настаивал на уникальности такого явления как «петербургский текст»: создание города с нуля по велению монарха, положение имперской столицы, сложные отношения города с морем и другими стихиями, подражание другим мировым столицам и при этом полная непохожесть на них определяют свойства этого текста. Петербург одновременно упорядоченный и непредсказуемый, величественный и эксцентричный, прогрессивный и консервативный, приморский портовый и «центральный» для России — на этих противоречиях и держится развитие «Петербургского текста».

Также В. Н. Топоров в своей книге «Святость» дал подробную интерпретацию подвига святых русских князей Бориса и Глеба и связи этого подвига с «Петербургским текстом». Борис и Глеб показали, что настоящая духовная власть может осуществляться парадоксально, как отказ от власти и от вражды. Отказавшись от сопротивления своему брату Святополку, Борис и Глеб стали не просто первыми русскими святыми, они стали восприниматься как образец стойкости, веры и доверия, без чего немислима добродетель власти. На Руси поэтому стали чтить не «успешных» правителей, но милостивых, и частая суровость русской истории смягчалась этим примером кротости и молитвенного доверия правителя. Петербург — тоже город парадоксов, абсурда и неприметной кроткой парадоксальной святости, как святость Ксении Петербургской.

Стихотворение тесно связывает «Петербургский текст» и историю Бориса и Глеба. Согласно летописному известию, Филипп (Пелгусий) был военачальником, несшим службу в устье Невы, на том самом месте, где потом будет построен Петербург. Ему явились Борис и Глеб, которые направлялись на помощь Александру Невскому как родственнику и потомку. Филипп преисполнился уверенности и известил о приближении шведских рыцарей к Новгороду. Тем самым оказывается, что еще за несколько веков до Петербурга уже существовали некоторые

свойства «Петербургского текста», такие как неприметная святость, защищающая город, соединение кротости и решительности, неожиданная ясность видений и пророчеств о будущем.

В стихотворении много скрытых цитат из раннего А. Блока, например:

Входившему солнцу навстречу
Дохнуло видения пламя.

Передавая летописное сообщение о солнечной пламенности этого видения перед восходом, стихи отсылают к следующим строкам Блока:

Бегут навстречу солнца, мая,
Свободных дней...
И приняла земля родная
Своих детей...

(«Бежим, бежим, дитя свободы...»), как и вступления к «Стихам о Прекрасной Даме» («Красное пламя бросает к тебе»).

Некоторые образы стихотворения понятны только исходя из поэзии Блока. Например, сравнение Запада с чайкой обязано стихотворению Блока «Мы шли на Лидо в час рассвета...», где чайка выступает как образ западной (итальянской) традиции любовной лирики:

И чайка — птица, чайка — дева
Всё опускалась и плыла
В волнах влюбленного напева,
Которым ты во мне жила.

«ладья выгребает на вёслах по-русски в бортах, укреплённых...» — На русских ладьях, как и на драккарах викингов, весла продевались через отверстия в бортах, чтобы весло не соскочило, если на него налегают несколько гребцов. Иначе говоря, «по-русски» означает ввиду солидарности.

«лишь двое над ними светлы и зарёй золотою очерченны чудно...» — Золотая заря — одно из имен Софии, Вечной женственности, в употреблении Александра Блока

и Андрея Белого. Борис и Глеб могут тогда быть восприняты как святые предшественники этих двух поэтов, также видевшие своё братство как готовность к жертве, без которой невозможно понять нынешние и будущие судьбы страны.

«тише ты, друже! Чай Биргер услышит...» — Биргер Магнуссон — предводитель шведского войска, бившийся один на один с Александром Ярославовичем Невским.

Письмо к православным (с. 51)

По ритмике и стилистике стихотворение — диалог с Бродским. В том же 1972 году написано самое горестное и сатирическое стихотворение Бродского о русской истории «Холуй трясется, раб хохочет...», представляющее русскую историю как жестокий карнавал насилия и хулиганства. Из этого диалога и образы «экспортной» России с балабайками. По жанру это мысленное путешествие, субъектом которого выступает Емеля, а местами путешествия — Швеция и Польша как соперники и враги России. Как и Бродский, в поисках свободного ритма в соединении с рассудительностью, Охапкин обращается к Антиоху Кантемиру и литературе петровской эпохи, иначе говоря, он вещает об истоках будущей всемирной миссии русской литературы, которую пророчили мирные соглашения петровского времени. Это путешествие сопоставляется и с походом Игоря, упоминается Ярославна, и имеется в виду, конечно, опять же слава литературы, превзошедшая славу оружия.

Смысл названия — рассказ о служении Слову, который может быть понятен только религиозным людям, знающим, что такое служение.

«и пока за мной не пришли из жакта...» — Жакт — жилищно-арендное кооперативное товарищество, раннесоветская форма совместного владения домом, которое из-за запрета частной собственности оформлялось как аренда. Имеется в виду, конечно, что пришли за кем-то

из силовых органов. Аббревиатура настолько непривычна, что не может запомниться.

«не кресты, я зрю, с колоколен сняты, колокольцы, чай, на крестах распяты...» — Колокольцы — шутовские бубенчики, колокольцы на крестах распяты, то есть растянуты — юродская травестия святыни.

«скоро каждый лоб, стуча о кресало, о другие лбы...» — Кресало — огниво. Отсылка к известной поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет».

Белый конь (с. 64)

Повод к написанию стихотворения — торфяные пожары жарким летом 1972 года, воспринятые как апокалиптическое видение. Всадник на белом коне — «завоеватель» понимается обычно как олицетворение эпидемии, которая оказывается сильнее любых армий. Россия сравнивается с вертоградом, садом. Имеется в виду Летний Сад Петербурга как один из символов русской культуры послепетровской эпохи и одновременно райский образ небесной Руси. Белый стелющийся дым напоминает вьюгу, разгул стихий и одновременно власть забвения, вьюга в русской литературе замечает следы, насильственно разлучает с прошлым, и, вероятно, здесь больше всего отсылка к поэме Блока «Двенадцать».

«точно сей новейший миф кочевником восстал, как древле скиф...» — Появление «скифа» указывает на другую знаменитую поэтическую декларацию Блока. Несколько нарочитых неправильностей, таких как «самоим» и «вьюга», напоминают о власти забвения, когда саму правильную речь трудно вспомнить.

«в то время, как пожарный окоём нас поражал стожарами...» — Стожар — суковатая палка в центре стога, не позволяющая ему развалиться, у Охапкина-метафора выгоревших деревьев и вообще бедствующей России, наподобие «несжатой полосы» Некрасова и подобных образов.

Завещание (с. 66)

Эпиграф — из Пс.136. При этом само завещание состоит из множества поговорок, приведённых частично, иногда в одном-двух словах. Некоторые из них восходят к сочинениям Н. В. Гоголя, например, «кувшинное рыло» или «на зеркало неча пенять, коли рожа крива». Общий смысл стихотворения можно обозначить библейским выражением (Втор. 28, 37) — стать «притчей во языцех», иначе говоря, постыдным примером для многих народов. Завещание как выведение из лабиринта, насилия превращает эти примеры в повод для семейного разговора, а значит, снимает то проклятие и клеймение, которые часто содержатся в поговорках.

В глухозимье (с. 69)

Стихотворение посвящено Татьяне Григорьевне Гнедич — одному из ведущих поэтов-переводчиков своего времени, авторитетному во «второй культуре». Известно, что перевод «Дон Жуана» Байрона был выполнен ею в заключении, отчасти по памяти. Отсюда и общий смысл стихотворения — лагерная глухота, несовместимый с жизнью холод, от которого нужно проделать путь к классическому Петербургу, тогда будет спасён и человек в лагере, и Петербург. Поэтому стихотворение начинается не просто с архаизмов, что было обычно во второй культуре как способ восстановления времен («Пью вино архаизмов», В. Кривулин), но с диалектизмов («стынь», «лютень», «сивер»), выглядящих как архаизмы. Этими диалектизмами могли говорить другие заключённые лагеря.

«искрят и пышут лютые Стожары...» — Слово «стожары» имеет два значения: это русское название созвездия Плеяд и специальное крепление для стогов. Можно увидеть здесь образ стога, объятого пламенем как образ трагедии русской деревни, а можно и образ грозного небесного знамения. Следует заметить, что в русской поэзии традиционно Плеяды смешиваются с Гиадами, «плачущими» звездами, предвещающими дождь и скорбь, например, у Фета:

Ты в них луною пышной,
Красавицей надменной,
А плачущей Плеядой
При ней мои глаза.

Или у Вяч. Иванова:

И в кельях башенных отстоянные яды
Преображают плоть, и претворяют кровь.
Кто, сея, проводил дождливые Плеяды, —
Их, серп точа, не встретит вновь.

*«и сивером свистят во все Ижоры Бельт ледяной
и норд со всех сторон...»* — Бельт (пролив, по-шведски
буквально «пояс») и норд (северный ветер) — профес-
сиональная лексика, напоминающая об образованных за-
ключенных лагеря.

Сюжет может быть реконструирован так: новый Ор-
фей, чтобы вернуть Эвридику — высокую культуру, должен
обрести новое чувство любви, способное выстоять в ла-
герных испытаниях (отсюда образ Леля, реконструируе-
мого славянского божества любви). Нева до постройки
Петербурга, пустынная (какой она изображена в начале
пушкинского «Медного всадника»), напоминает Стикс,
и, чтобы она стала Невою, необходимо новое культурное
усилие. Тогда «ледовый гроб» превращается в адамант, лёд
Петербургской северной земли — в алмаз чистой любви.

Обол (с. 73)

Анапест, которым написано стихотворение, со вре-
мен Некрасова воспринимается как один из народных
песенных размеров, давно приобрёл романсовые нотки
в русской поэтической традиции. Он употреблялся и в со-
ветской песне как патетический: «На позиции девушка /
Провожала бойца...» Тема этого стихотворения — эхо
давной войны, ощущаемое не просто как фантомная боль
или тяжкое воспоминание, но физиологически, как кро-
вавое напряжение в глазах, как гнев и досада, с трудом
совместимые с чистым покаянием.

«Обол» отсылает к греческой мифологии, монете — плате Харону, перевозчику через Стикс после смерти, как знаку принесённой жертвы. И поэтому смысл стихотворения: от гнева и стыда к покаянию и обновленному чувству родины можно перейти, только обдумав серьёзно смерть. Лишь память смертная избавляет от сложного комплекса стыда за родину и перед родиной. В стихотворении слышны отзвуки историософии А. Блока из его цикла «На поле Куликовом», где тоже катастрофа татарского нашествия мыслится как значимая для современности, а родина, как больная и одновременно преображённая, увидена воином, павшим в бою: «Я не первый воин, не последний...»

Баллада о Святогоре (с. 75)

Стихотворный размер этой баллады отсылает к репертуару сходных, хотя и не тождественных, русских балладных размеров («Кубок» и другие рыцарские баллады Жуковского), которые видоизмененно могли воспроизводить былинные сюжеты («Песнь о вещем Олеге» Пушкина).

В основе ее лежит былинный сюжет о богатырях, которые до времени скрыты в горах, но могут быть вызваны ангелом для спасения отечества. Здесь имя Святогор (хотя само по себе оно дохристианского происхождения) указывает на ключевые символы, связанные с принятием Русью христианства. Русь тогда стала прямо или косвенно общаться с христианскими обителями на святых горах (Иерусалим, Синай, Афон). Таким образом, имя Святогор указывает на то, что, благодаря принятию христианства, богатырство приобрело всемирное измерение, став таким же идеалом, как и западноевропейское рыцарство с его аскетикой и поэзией.

Сюжет прост: деу-Россию не могут освободить только святые, нужен богатырь Святогор с дружиной, иначе говоря, воля народа. Ведь даже святые «слепы», иначе говоря, не знают всех пророчеств и судов Промысла, тогда как богатырь, даже умерший в паломничестве в Иерусалим (или, возможно, павший в крестовом походе — тогда это

сказочное соединение богатырства и западного рыцарства) и похороненный на Елеонской горе, чувствует дыхание своего народа и поэтому может сказать, жива Россия или мертва. Собор святых разных эпох (Георгий Победоносец, Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Нил Сорский) напоминают о многом: первый — о рыцарском уставе, остальные — о своих монастырских уставах. Но одних уставов недостаточно для чуда, они могут разве что создать заградительный ров против зла. А настоящее торжество добра — в ином, в общении святых и ангелов. Этот собор святых и ангелов представлен в стихотворении как создание поэтического произведения, как сочинение небесного гимна, где голоса святых подхватывают мелодии ангелов и тем самым общение святых оказывается и вдохновением для новой поэзии. *«и Ангел небесный, звезды поводырь — тот самой, ведущий Илью в монастырь...»* — Илья (Илья Муромец) — самый известный богатырь, закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры и внесён в святцы как преподобный.

Русская лира (с. 81)

В предсмертном стихотворении Г. Р. Державин сопоставил звуки «лиры и трубы» как обозначение вдохновленной и при этом действенной поэзии. Лира есть в названии, труба появляется как апокалиптическая труба архангела Гавриила.

В первой строфе говорится о том, что память о Державине эмоционально насыщена, но ни одна из этих эмоций до конца не передаёт христианское содержание поэзии Державина, которое только ещё предстоит раскрыть в стихотворении.

Во второй строфе цитируется манифест русского народного христианства (стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья...») и одновременно пушкинская «любовь к отеческим гробам». Тем самым подчеркивается, что христианство Державина нашло продолжение и идеальное выражение в позднейшей русской поэзии с её размышлениями о смерти и жизни, истории и судьбе.

Третья строфа с архаизмами и поэтологическими размышлениями («речь смиренья в падежах» — иначе говоря, в отличие от эгоцентризма позднейшей авторской лирики, постоянного «я» в именительном падеже, Державин мог говорить «меня», «мне», вписывая себя в ситуацию, а не создавая только свои субъективные ситуации) конспектирует обычные подходы филологов к Державину. Ученые часто понимают его не как различимо звучащего в наши дни поэта, а как принадлежащего давней истории стихотворца. Творчество поэта тогда просто служит характеристикой екатерининской эпохи. Его страстные монологи и вопрошания, звуковое богатство понимаются просто как ресурс для дальнейшей поэзии, частно избыточный. Филологи говорят о риторичности Державина, о его поэтике антиномий и контрастов (таких как «смиранный камыш» и «гордый орёл»), но думают, что Державин слишком схематичен, тогда как настоящий лиризм антиномий был достигнут только у Тютчева. Охапкин явно считает филологический подход недостаточным и ставит целью показать, что Державин и Тютчев ведут с нами один и тот же разговор о величии мироздания, смирении человека и способности живой поэтической речи вмещать и величие, и смирение.

Четвертая строфа — кратчайший конспект державинских тем и образов.

Пятая строфа напоминает о Державине как о государственном деятеле, участвовавшем в подавлении бунтов, и о том, что бунт может приобретать поэтому поэтический и эпический размах. Охапкин видит, что здесь нужно продолжать разговор, тогда как обычно на политической деятельности Державина его оканчивают, говоря либо о том, что поэтическое творчество и государственная деятельность особо не пересекались (влияние романтического мифа о «двоемирии»), либо что Державин был патетичен и в государственной деятельности (влияние модернистского «жизнетворческого» мифа). Охапкин считает, что оба эти мифа не объясняют значения Державина в русской культуре.

Шестая строфа как раз подчеркивает ошибочность обоих мифов: нельзя говорить о двоемирии, если крещенские морозы как указание на Крещение и на судьбы

России оказываются одновременно поэтическим и социальным фактом. И нельзя говорить о жизнетворчестве, если закономерности движения истории столь же неумолимы, сколь и закон вращения земли. Значит, нужно по-новому осмыслить статус поэтического высказывания.

В седьмой, восьмой и девятой строфах появляется уже знакомый корпус образов: богатырь Святогор как посвящение народом себя святой земле, собор святых как необходимая мольба за народ, Воскресение как победа святости, воспринятой и унаследованной народом, как воцерковление народа, для которого нужны беседы и святых, и ангелов. Невеста Христова — Церковь.

Последние три строфы последовательно раскрывают язык Державина способом, альтернативным филологическому анализу, как язык ангельский, язык человеческий и язык любви, в соответствии с императивом апостола Павла в послании Коринфянам: «Если говорю языками человеческими...» Державин — не медь, а медный колокол, не кимвал, а созвучие лир и труб.

Ангельская речь включает в себя скорбь о грехах, свидетельство о Боге, благовестие мира, призыв к терпению и побуждение к свободе. Человеческая речь способна вместить богословие только благодаря наличию в ней высшей правды, без чего она превращается в набор небогословских частных утверждений, ограниченная несовместимыми с богословием понятиями, такими как «судьба»,

и выражением эмоций, таких как «боль». Наконец, речь любви оказывается, по апостолу Павлу, речью долго-терпения и смирения, и поэтически она отождествлена со смиренной и при этом пробуждающей к новой жизни песней жаворонка.

Три эпохи (с. 84)

Эпиграф из Ахматовой отсылает к главной теме ее стихотворения: неизбежности разлук в культуре, когда разлука как личная беда становится при этом фактом культурной памяти и может быть осмыслена как часть тоски по мировой культуре или по милосердию Бога.

Сюжет стихотворения (концепция развития русской культуры как смены «золотого», «серебряного» и «бронзовых») веков не является просто культурологической условностью, но прямо следует из русского классицизма, в частности, сформулированной Ломоносовым вслед за французскими классицистами теории трех стилей: высокого (трагического), среднего (драматического) и низкого (комедийно-фарсового). Трагедией оказывается легенда о том, что Александр I не был похоронен, но стал странником под именем Феодора Кузьмича, в чем Охупкин видит трагическую судьбу Золотого века: ведь и Пушкин писал «Давно, усталый раб, замыслил я побег...» Драматичен серебряный век, в котором ломались судьбы на фоне катастрофических событий Первой мировой войны. Бронзовый век разворачивается в эпоху лжи, которая может вызывать только смех, но, чтобы состояться как эпоха, требует собеседников. Поэтому стихотворение насыщено цитатами из стихотворения Тютчева «Цицерон»: он показывал, как Цицерон, ставший жертвой политики своего времени, при этом сам составил эпоху в истории культуры именно потому, что он превратил фатум своей судьбы в выражение воли бессмертных богов, требующих великого оратора как собеседника своих планов и замыслов, одновременно свидетеля и глашатая.

Вьюжная Пасха (с. 89)

По размеру стихотворение начинается дольником, открытым Серебряным веком (например, перевод Блоком «Лорелеи» Гейне), и переходит в анапест. Символика стихотворения проста: сближение пасхальной вьюги (не такое уж редкое явление в наших широтах, если Пасха ранняя) и белых одежд Крещения, любая Пасха как новое крещение Руси. В стихотворении много типично блоковских или близких к ним оборотов, вроде «безобразная скука» или «влекомая грусть». Опять появляются норд и сивер, образы нового ледникового периода как эсхатологического явления, и промерзшая земля, отдающая своих мертвецов, как в момент Искупления и в момент Второго Пришествия.

«Что за дикие вопли! Гонимая падарь киммерийские мраки пронзает, крутятся» — Киммерия — часть Крымского побережья, где античность располагала один из входов в Аид, ключевой географический миф в поэзии М. Волошина. Для античности Киммерия была далеко на севере, тогда как для петербуржца она — на юге.

«Ужли музыка смертную душу спасла?» — изменённая цитата из стихотворения О. Мандельштама «Пешеход».

«Первозванный Андрей, просветитель сарматов!» — Апостол Андрей считался просветителем народов, живших по Днепру, это прежде всего сарматы, кочевое племя, растворившееся потом в других народах, в частности, черноглазость и черноволосость запорожцев и донских казаков объясняется влиянием сарматской крови. Апостол Андрей был распят на Х-образном кресте, и орден апостола Андрея был высшей наградой Российской Империи.

Преображение временем (с. 91)

Стихотворение близко таким пушкинским жанрам, как дружеское послание и стансы. В произведении преобладает мотив вдохновения как избытка: даже пение жаворонка жаркое, а железо жестокого железного века превращается в плавающие взор стигматы. По сути, стихотворение «манифестирует» зрительные и слуховые впечатления бронзы и бронзового века: бронза ослепляет на солнце, гудит-поёт при ударе, в отличие от железа. Как и положено в дружеском послании, в нём нет привязки к какому-то одному времени, поэтому поминаются зима, весна и лето, ради контрастов и чувства дружеской поддержки в любое время года.

«ужель мордовские осины не разгорятся в страшный срок?» — Мордовские осины — образ лагерной ссылки, «слава» мордовских лагерей ГУЛАГа, и одновременно отсылка к шуточной идиоме И. С. Тургенева «язык родных осин». Иначе говоря, опыт лагерей должен быть осмыслен как опыт христианского исповедничества на ясном всему народу языке. Возможно, отсылка и к осине как дереву самоубийства Иуды в некоторых народных преданиях,

и тогда речь идет о предательстве памяти новомучеников в народе.

Ингерманландия (Ингрия) — историческая область Петербурга и окрестностей.

«и ветхий образ наш смиренный...» — Ветхий образ — отсылка к термину апостола Павла «ветхий человек» или «ветхий Адам» (Еф. 4, 22), в отличие от «нового человека» во Христе, человека обожения.

Труба истории (с. 93)

В центре стихотворения — переосмысление знаменитого посвящения Микеланджело своей «Ночи», переведённой Тютчевым. Состояние стыда Микеланджело за свою эпоху отождествлено с ожиданием всеобщего воскресения после смерти, что обосновывается не прерывающейся цепью Откровения, включая откровение Аврааму Троицы у Мамврийского дуба, из которого, по одному из апокрифов, был сделан Крест — отсюда и сказанные на Голгофе слова в этой же строфе. Смысл стихотворения: говорить о Воскресении нельзя, не сказав о распятии, но об этом сказать можно только на языке такой цепи Откровения, где Вифлеемская звезда сообщает всем премудрость Божию при сотворении, пещера Рождества как воплощения перекликается с гробом Господним как местом Воскресения. Это, возможно, ответ и на строки Ахматовой о распятии: «Так никто взглянуть и не посмел»

«я вижу светлое изустье!» — Изустье — диалектизм или поэтизм: устье.

Петропавловской крепости (с. 98)

Стихотворение посвящено тому, что Петропавловская крепость, построенная Петром I как сердцевина города и ставшая важнейшим местом духовной сосредоточенности, как «пантеон», место захоронения монархов, после падения монархии стала восприниматься просто в качестве достопримечательности. Хотя память и о воле

Петра I, и о защите страны, и о служении монархов сохранялась, но была дополнена и памятью о заключенных Петропавловской крепости. Такая замена сосредоточенности любопытством подорвала «Петербургский текст», который теперь нужно заново «пересобрать». Охапкин и реконструирует этот текст, расширяя образность, вводя символы из Нового Завета и Откровения Иоанна Богослова. Тем самым Петербург воспринимается как город всемирных судеб, и воля Петра I и «Петербургский текст» вновь начинают прочитываться.

«Твердыня трёх веков Петра и Павла...» — трёх веков Петербурга (на год написания стихотворения — не полных) и одновременно трёх веков русской поэзии: золотого, серебряного и бронзового.

«Ты в заточеньи цезарепапизма...» — Цезарепапизм — посягательство государственной власти на церковное управление, частичным цезарепапизмом можно считать учреждение Синодальной формы церковного управления, Синод располагался в Петербурге.

«Приузом власти стянутая присно...» — Приуз — цепь-держатель, привязь (технический термин)

«Сосредоточив прах порфиноносный...» — Прах порфиноносный — погребенные в Петропавловском соборе императоры и члены императорской фамилии.

«И мерзостью куришься папирсной...», «Ты Судный день возвышенно трубишь...» — обращение к образу апокалиптического Ангела на шпиле Петропавловского собора.

«И вывела на волю до утра.» — эпизод освобождения апостола Петра из уз (Деян. 12).

«И горделивых сих великолений коснётся мирт...» — Мирт — благоуханное дерево, его ветвь — символ мирных наслаждений.

Собор четырёх русских поэтов (с. 100)

Образ четырёх поэтов — явная отсылка к образам четырёх евангелистов, символами которых традиционно являются животные из видения пророка Иезикииля.

Эта животная «аллегорика» может развиваться дальше, и свойства животных могут вызывать эмоции и впечатления, которые раскрывают и характерные черты каждого Евангелия. Охапкин проделывает ту же аллегорическую работу с репутациями четырёх русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Блока и Гумилёва.

Блок назван «гадательным» благодаря особой поэтике символов, которые обозначают у него не только идеи, но и настроения, как, скажем, ключевой символ «пути». Размытость основных блоковских символов далее названа словом «туман», оно у Блока является довольно частным и многозначным: «цветной туман». Гумилёв — «трезвения столп», это и полуцитата названия его книги «Огненный столп», и сложная метафора трезвения как аскетического бодрствования и необходимость для Гумилёва, офицера Первой мировой, бодрствовать в окопах. Далее поддержка Блоком большевизма сравнивается с отречением апостола Петра (Мф. 26, 69–75 и параллельные места), а воинский героизм Гумилёва — с готовностью апостола Павла самому пожертвовать своим спасением ради спасения своего народа (Рим. 9, 3).

«Кто кремень? Где туман? — Посмотри!» — имя Лермонтова зашифровано не только полуцитатой «Сквозь туман кремнистый путь блестит» («Выхожу один я на дорогу...»), но и полуцитатой «с свинцом в груди» из стихотворений «Смерть поэта» и «Сон», равно как и рассечённая грудь в «Пророке» Пушкина. Иначе говоря, поэтический дар понимается как чудо, которое по-своему настигает каждого поэта, и это чудо невыносимо для обычного человека. Настоящее творчество — прохождение через состояние, близкое состоянию смерти. И Охапкин задает вопрос, сможет ли современный поэт ощущать себя как Пушкин или Лермонтов накануне дуэли. Ответ на этот вопрос положительный и христианский — кто крещен, тот крестился и в смерть Христа, и современный поэт — подражатель не только Пушкина и Лермонтова, но и апостолов Петра и Павла.

Шестокрылый Серафим из «Пророка» Пушкина сближается с Серафимом Саровским: пушкинское имение Болдино находилось в той же губернии, что и Саровская

пустынь. Образ лазурных камней не поддаётся однозначной интерпретации — это и «сокровища на небе» (Мф. 6, 19), и сапфир-лазурит, один из камней наперсника иудейского первосвященника, и небесного Иерусалима книги Откровения Иоанна Богослова, и лазурный цвет как цвет Софии-премудрости в русской поэзии (Вл. Соловьев, Андрей Белый, А. Блок). Далее поясняется, что имеется в виду лазурь Евангелия, которой причастны эти поэтические евангелисты.

Сравнение четырёх поэтов с концами Креста должно напомнить крестово-купольную форму храма, где четыре евангелиста изображены на «парусах», полусводах между стенами и барабаном купола, а в целом получается образ Креста, вписанного в круг.

Алмаз (адамант) — образ твёрдого исповедания, в этом смысле самым честным поэтом может стать исповедник, до конца пребывающий в вере. Охапкин говорит и как герой видения, и как свидетель Воскресения о возможности такого поэта. Можно это сопоставить с образом «пятого Евангелия» — свидетельства мироносиц.

Наше слово — свобода (с. 102)

Вероятный ритмический прообраз — «Новая Америка» Блока, оттуда же и парадокс: тяжёлый труд добытчиков и горных заводчан как основание свободного и при этом рискованного будущего страны. У Охапкина конфликт устроен сложнее: природа может бунтовать против человека, а люди учат друг друга несвободе. Поэтому свобода возникает не столько благодаря созерцанию будущего, как у Блока, сколько действию, экстатической благодарности. Тем самым Охапкин дополняет ритуальность Блока евхаристической экстатичностью.

«Закослелую глыбу сжирая — диабаз в глубине голубой...» — Диабаз (долерит) — горная вулканическая порода, применяемая в строительстве. Охапкин наполняет блоковскую тревогу «океаническим чувством» неотвратимых перемен в мире, которые сильнее любых революций.

«Сердце траппов — подспудная мука...» — Траппы — особые формы магмы, отличающиеся большим количеством базальта. Свобода в этом стихотворении понимается как обращение от застывших форм к начальному расплаву, который требует внимания и, значит, усвоения этой начальной свободы.

Видение щита (с. 104)

Стихотворение посвящено Елене Игнатовой — поэту, сценаристу, деятелю ленинградской «второй культуры». Общий сюжет стихотворения — ряд метафор, превращающих частное пророчество в более общее и роковое. Так, щит Ахилла, созданный для победы, оказывается и памятником погибшему Ахиллу; эгида, щит Афины с головой Медузы Горгоны, сообщает о роковых судьбах Петрограда, хотя эгида Афины защищала город Афины; наконец, блокада Ленинграда отождествляется с гибелью Трои.

Сходная образность появляется ещё в стихотворении В. Кривулина «Кассандра» (1972), где тоже пророчество о падении Трои отождествляется с пророчеством о блокаде Ленинграда, а бронзовое зеркало вызывает мысль о «бронзовом веке», но у Кривулина есть только сцена с Кассандрой и зеркалом, тогда как Охапкин даёт целую панораму классической мифологии, с «сomniaбулическим» перетеканием образов: эгида оказывается «ахилловой», а Горгона, погибшая от вида себя в зеркале, сама предстает зеркальной и определяет судьбы большого города.

«На западе — за траверзы Кронштадта...» — Траверзы — направление, перпендикулярное движению корабля, здесь, вероятно, вообще маршруты военных кораблей.

«Над разорённым новый Илионом?» — Илион — другое название Трои.

Пасхальное посвящение нашей северной розе (с. 107)

Эпиграф — из оды Державина «Фелица»: отождествляя Екатерину II со сказочной восточной царицей (Фелица, лат. «счастливая», восточная царица, героиня просветительно-моралистической «Сказки о царевице Хлоре», написанной самой Екатериной), поэт тем самым говорит о том, что все богатства и счастья Востока окажутся частью Российской Империи. Роза без шипов, которую нашел царевиц Хлор и которая упомянута в оде, — образ безупречной добродетели, без недостатков и неудобств, таких как шипы.

Прообраз ритма и изощрённого расположения рифм — стихотворение И. Анненского «Л. И. Миклулич», в котором прямо названы Фелица, Пушкин и бывшие розы екатерининской эпохи и пушкинской антологической поэзии, которые унесло потоком неумолимого изменения времени. У Анненского пушкинская эпоха навсегда ушла и может разве «навевать сиреням грёзы», иначе говоря, вдохновлять новую моду: сирень стали широко разводить только во второй половине XIX века.

Начинается стихотворение с противопоставления серпа войны и розы мирной жизни. Потом благополучие розы переходит в классический эротический сюжет лирики «соловей и роза», а далее оказывается, что соловей не может быть хранителем розы Петербурга, а только Дух, изображаемый как ветер или птица. Но роза тогда — и роза ран мученичества. Кульминацией стихотворения становится сопоставление Розы Юга, свидетельства Воскресения, и Розы Севера — мученической крови, Пасхи как подвига новомучеников. Поэт в финале выступает как совесть народа и одновременно как традиционный северный певец, который постигает христианство, усваивая эсхатологическое учение о явлении Господа во Славе после мытарств — испытаний и проверок человечества.

«Пред ветвью царственного Рода...» — Царственный род — отсылка к новозаветному «род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Петра 2, 9) обо всех верных членах Церкви.

Образ святого императора Юстиниана (с. 124)

Стихотворение представляет собой «экфрасис» — описание мозаики в храме Сан-Витале в Равенне, на которой император Юстиниан со свитой и воинами приносит в храм литургический сосуд, тем самым устанавливая церковный мир. «Зачало» (запев, начало) подражает мандельштамовскому «Я не увижу знаменитой „Федры“...» Портовая Равенна представляется неким кораблем, а портовый Петербург — домом, твердыней, созданной Петром I. Только если представить Петра как нового Юстиниана, можно предположить корабль и в Петербурге, но для этого нужно разобраться с тем, что Юстиниан однозначно свят, тогда как Пётр свят только в отражении, потому что его город — город святого Петра. Объединяет двух императоров поправление змия, иначе говоря, надменных замыслов врагов, и тогда в смирении они оказываются защитниками святости, оправдывая и смиренное «зачало» стихотворения.

«И Церковь наша Господу готова...» — Церковь оказывается сердцем человечества, полуцитата из Пс. 56, 8: «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё».

Отцовская страна (с. 126)

Печальное стихотворение о родине как обезбоженной стране. Зло во второй строфе — писатели, создающие «клюкву», жадные и «замутнённые» идеологией. Пародируются строка Державина «Я царь, я раб, я червь, я бог» и «вино блуда» как символ вседозволенности Вавилона (Откр. 14, 8). Отвергается всё показное, советское: красные звезды («багровые пятерики»), космическая ракета («фаллической мечетью»), имеется в виду форма минарета и космическое его украшение — позолоченный полумесяц).

«Лишь претерпевший до конца — спасётся...» — Мф. 24, 13.

«Когда завидев маковку простую над кладбищем, где звёзды да кресты...» — Финальная строфа явно

содержит отсылки к «Родине» Лермонтова. Единственный способ принять советскую страну, где на кладбище звёзды, а не только кресты, — отделить её от официоза.

Куликовский цикл (с. 138)

«Прототекст» — цикл А. Блока «На поле Куликовом», особенно второе стихотворение этого цикла, в котором вешие лебеди над Непрядвой предупреждают о неперемённой гибели товарища. Цикл Блока, получивший, в частности, глубокомысленное толкование историка и философа Г. П. Федотова, сближает Россию как «светлую Жену» с землей-матушкой, Богоматерью и Премудростью Божией. В этом цикле «софиология» романтиков и Вл. Соловьева получила глубокую разработку как ключ к русской истории

Кончар — тюркский меч с узким клинком, способный не только сечь, но и пробивать кольчугу или латы.

«*Мещера, меря, голядь, финн...*» — обозначение основных народов северной и центральной Руси, соотносящее судьбы москвитов на Куликовом поле с судьбами Новгородской и всех северных земель.

Полесье — здесь вообще леса, переключка с киевским названием центральной Руси — Залесье (за брянскими лесами).

С экрана — намёк на кинообраз Сталина, соотнесенный с образами азиатских завоевателей (как «Генералиссимус степей» — Н. Заболоцкий о Чингисхане).

Боброк — воевода и родственник Дмитрия Донского, его называли «ведуном» то ли за хорошие знания, то ли подозревая в тайных знаниях.

Мурзамецкий — диалектный вариант слова «бусурманский», часто в значении «татарский».

Влог — то же, что лог, заросший овраг. Он «рudeет», то есть открывает глинистую почву.

Князь Владимир — Владимир Андреевич, князь Серпуховской.

Февраль (с. 165)

Диалог с поэмой «Двенадцать» Блока, названной здесь по имени одного из персонажей «Петруха». К многочисленным цитатам из поэмы (таким как «без креста») добавлены романсовые мотивы, (например, известная советская песня «Синенький скромный платочек»), образы других стихов Блока («Россия, нищая Россия» в строке «В нищей России наших времён», а следующая же строка «Но и такую, моя Россия» — почти точная цитата из стихотворения «Грешить бесстыдно, беспробудно...», в котором Блок анализировал, как трусость, лень и жестокость могут быть совместимы с показной или мнимой религиозностью). Название указывает и на Февральскую революцию, и на закон от 6 февраля 1992 года, установивший понятие «гражданин России». Гражданами стали считаться все, прописанные на территории РСФСР на момент принятия закона.

«Флаг наш трёхцветный...» — в России в 1992 году был уже официальным. Триколор (хотя чаще использовался более светлый оттенок синего, чем в теперешнем стандарте) не принимали радикальные монархисты, предпочитавшие «имперский» флаг России, чёрно-жёлто-белый. Среди них был распространён «конспирологический» антисемитизм, на что также указывается в стихотворении.

«В доме Ипатьева так порешили...» — Женственный образ народного духа восходит к признанию из дневника Блока о том, что Христос — не Господь, а призрак, который только и может оправдать революцию, не будучи при этом подлинным: «Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Отсюда «просто матрос»: иногда при исполнении поэмы «Двенадцать» из соображений цензуры чтецы заменяли «впереди Иисус Христос» на «Впереди идёт матрос», с более эффектной рифмой.

Конец века (с. 170)

Стихотворение представляет собой «глоссу» (подробное развертывание в поэтической форме) вынесенных

в эпиграф строк Тютчева. Кроме множества цитат из Тютчева, в нём преобладает и общая тютчевская тональность, хотя в середине четверостишия сменяются не свойственными Тютчеву трехстишиями, напоминающими скорее о терцинах Данте, хотя используется более традиционная для русской поэзии парная рифмовка.

«Дух себе подобных различает...» — то есть мирской человек легко находит себе сообщников. Далее эта мирская жизнь сравнивается с известным сюжетом басни Крылова о том, как пирожник тачает сапоги, а сапожник печёт пироги, иначе говоря, мирские сообщества утрачивают дар различения и не могут предвидеть даже ближайших последствий своих поступков.

Ясперс (яспис) — устаревшее название яшмы, полудрагоценного камня, из которого изготавливались обычно вазы и шкатулки. Каменное сердце, «окамененное сердце» (ср. Ин. 12, 35), говорит поэт, должно превратиться в драгоценный ковчег, в оправу для спасительной вести.

Рассудок мой висит на волоске — отсылка к строкам Державина:

Вся наша жизнь не что иное,
Как лишь мечтание пустое.

Иль нет! — тяжёлый некий шар,
На нежном волоске висящий

«А ныне печень смертно говорит...» — Печень в классической культуре, античной и средневековой, вместилище досады и гнева, терзание печени — наказание за гордыню или самонадеянность, как мы знаем из мифа о Прометее, досада о напрасно потраченном времени. Далее в стихотворении выдерживается символика орла как птицы победы и печени как гордыни, и новый Прометей идет от покаяния к воскресению.

«Пока петух кричит осоловело...» — отсылка к библейскому эпизоду отречения апостола Петра

«А на иконе Он с хоругвью белой...» — распространенное изображение Воскресения Христа западного происхождения: воскресший Христос держит белое знамя

с красным крестом, так называемое знамя святого Георгия или знамя Иерусалима как универсальный символ победы.

«И дух питает тело смоквой спелой...» — «Смоква спелая» — одно из «знамений времени», названных в Евангелии (Мф. 24, 32), метафора близкого конца века сего.

«И вдалъ несёт, как льдину половодье?...» — отсылка к стихотворению Тютчева «Смотри, как на речном просторе...», в котором ледоход отождествляется с судьбами человечества, в том числе еще не родившихся людей.

«Господь подаст насущный каравай...» — кроме общего названия для круглого хлеба, каравай — это ещё и народное название артоса, пасхальной просфоры, которая символизирует истину воскресения плоти.

«В зрак нищеты и тления унижен...» — Зрак нищеты. см. Фил. 2, 6.

«Истлеешь, как зерно...» — см. Ин. 12, 24.

«А в бороздах лица лишь покаянья...» — отсылка к евангельской притче о сеятеле: в финальной части стихотворения Евангелие «сеется» в душу, непосредственно выражающую себя на лице как зеркале души.

«И близится Восток, его рассвет...» — Восток в церковнославянском языке означает и часть света, и восход, здесь Воскресение Христа как «Солнца Правды».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александр Марков. Об откровениях языка гражданской лирики Олега Охупкина</i>	<i>5</i>
---	----------

Время застоя (конец 1960-х – начало 1970-х)

«Если Родина мне уготовит оружие к бою...»	15
Наваждение	16
Наедине с отчизной	17
«Не уж-то азиат? Нет. Россиянин ты...»	19
«От ямщика до первого поэта...»	21
Речь паломникам в Киев	22
Вести из леса	24
Иосифу Бродскому	25
Александру Ожиганову	32
Железная песенка	34
Другу — стихотворцу	36
К музе	38
К другу моему	40
В час ареста	41
«Тьма, хоть выколи глаз. Живём в безвременье...».....	42
«Свистящий и режущий, режь и свисти...».....	43
В ночь на невскую сечу	45
Квадрига	48
Доживая до лучших времён	49
Письмо к православным	51
На отъезд поэта	54
«Я не знаю надежды кроткой...».....	57
Моим сверстникам	58
Вдали от моря	59
«Продмаг. Очередина. Спёртый дух...».....	61
Посох	62
Белый конь	64
Завещание	66
Виктору Кривулину	68
В глухозимье	69
Санктъ-Петербургъ	70
Борису Куприянову	72
Обол	73

Баллада о святорусском богатыре Святогоре	75
«То ли жёсткое мужество жизни...»	77

Религиозное возрождение

Время надежды

(1975 – 1988)

Русская лира	81
Наш путь	83
Три эпохи	84
Муза	86
Нищета	87
Колос	88
Вьюжная Пасха	89
Преображение временем	91
Памяти Лермонтова	92
Труба истории	93
Зрелище	95
Небесная Россия	96
Петропавловской крепости	98
Собор четырёх русских поэтов	100
Наше слово — свобода	102
Видение щита	104
«Вот и запели горящие волны...»	106
Пасхальное посвящение нашей северной розе	107
День рождения	109
Дума	110
«На земле совершилось жестокое дело...»	114
Ветр пророческий	115
Читая совестные знаки	117
Памяти Блока	119
Огненный язык	122
Образ святого императора Юстиниана	124
Отцовская страна	126
Роза Ветров	128
«В душе молчание и тишина, и тайна...»	130
«Восемьдесят восьмой год»	132
Тысяча лет	135

«Куликовский цикл» из книги «Возвращение Одиссея»

Русской дружинной музе	138
------------------------------	-----

Ключи Непрядвы	139
Битва за слово	145
Бодрая осень	147
Поле воскресенья	148
Память	150
Конь святого Георгия Победоносца	152
День Пушкина	154

Время разбитых надежд (1990-е – 2000-е)

«Нищая жизнь наступила в стране...».....	159
На Рождество	160
Россия	161
Воскресенье	162
Февраль	165
Уходящий народ	167
Конец века.....	170
«Увы, мутировал народ...».....	176
«Двадцатый век уже прошёл, а двадцать первый...».....	177
«На улице долдонят „синячки“...».....	179
«Злые, как черти, люди...».....	180
Памяти В. Т. Шаламова	181
Апокалипсис Санкт-Петербурга	182
Ода про всех нас	187
«И вот настал капитализм бандитский...».....	190
Двадцать первый век	191
«Весь город наш слезами орошён...».....	193
Комментарии к стихам.....	194

Олег Александрович Охапкин
ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА

Ответственный редактор
Т. И. Ковалькова

Корректор
И. И. Андреев

Вёрстка
Н. Л. Балицкая

НП «Русская культура»

195220, СПб., Гжатская ул., д. 21

Адрес редакции: 195220, СПб., Гражданский пр., д. 24, офис 11

Контактные телефоны: (812) 534-96-34; +7 (921) 368-07-57

E-mail: info@russkymir.org

Подписано в печать 26.09.2019 г.
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 18,06.
Тираж 500 экз.

Отпечатано с электронного оригинал-макета,
предоставленного издательством,
в Первой Образцовой типографии
(Филиал «Чеховский печатный двор»)
www.chpd.ru